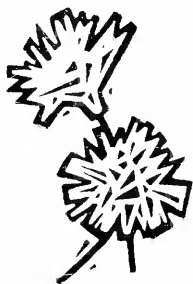


Г Е О Р Г И Й
Ш И Л И Н

НАМО



КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СТАВРОПОЛЬ-1966

**ГЕОРГИЙ
ШИЛИН**



ПОВЕСТЬ

КАМО



Печатается по изданию:
Георгий Шилин, Главный инженер,
Издательство писателей в Ленинграде, 1931 год.

Оформление
художника Н. Д. Будникова



арким июльским днем 1904 года
из батумской тюрьмы бежал арестант. Растерянный надзиратель, неловко ввалившись в кабинет начальника тюрьмы, доложил о побеге.

— То есть, как это «бежал»?

Почему?— И, не дождавшись ответа, закричал:— Черт знает... черт знает что! Не охрана, а гимназистки какие-то! Разогнать всех! В карцер, в карцер! В гроб вогнали, изверги! О, р-рак-капии! Махаметы!..

Пятнадцать лет батумская тюрьма считалась самой надежной во всем Закавказье. Ее репутация была безупречна. Побег из образцовой батумской тюрьмы мог казаться нелепостью, такую же, как появление белого медведя на махинджаурском берегу. Надо же было случиться такому происшествию как раз в тот день, когда из Тифлиса ехал прокурор!

Начальника тюрьмы не так волновал сам побег, как пятно, которое может лечь на его многолетнюю безупречную службу. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие! Все благополучно. Только час назад сбежал арестант — специально в честь приезда вашего высокоблагородия»... Это называется репутацией лучшей тюрьмы.

Он еще не знал имени бежавшего. Для него в эту минуту совершенно безразлично было — кто бежал.

— Меры приняты?— глухо спросил он.— Погоню послали? Двор обыскали?

И, не дождавшись ответа, сверкнул глазами:

— Кто бежал?.. Что-о? Что ты сказал? А?— багровея и не сдерживая себя, закричал он, услышав имя бежавшего.

— Камо,— подтвердил надзиратель.

— Камо... Боже мой, что они со мною делают! Всех выгнать! Всех в тюрьму! Нет, они замучили меня. Они зарезали меня... Нет, голубчики, я заставлю вас отвечать... Вы мне ответите, голубчики...

Начальник тюрьмы выхватил из портфеля бумажку и сунул ее надзирателю.

— Вот, вот, полюбуйте, басурмане, полюбитесь...

Это была телеграмма из Тифлиса, уведомлявшая, что сегодня прибудет товарищ прокурора тифлисского военноокружного суда для допроса заключенного в батумской тюрьме политического преступника Семена Аршаковича Тер-Петросяна, по кличке Камо.

— Нечего сказать, оказали услугу высшему начальству. «Пожалуйте, ваше высокоблагородие, господин прокурор... Вам надо было бы, знаете, поторопиться... Запоздали малость. Наши арестанты вроде туристов. А мы всего лишь швейцары в гостинице для знатных путешественников...» Да-с... «Вы, господин Камо, хотите проехать в Тифлис? Пожалуйста, сделайте одолжение. Может быть, прикажете еще проводить вас на вокзал? Вещи снести? Может быть, за извозчиком сбегать?..» О... о... Гостиница! Постоялый двор! Нет, это не надзиратели, не стража! Гимназистки!

Он схватился руками за голову и принялся расхаживать по комнате. В эту минуту он совсем забыл, что поезд с ожидаемым начальством уже подходил к веселому батумскому вокзалу.

Мысль о побеге казалась начальнику тюрьмы невероятной. Он вышел на тюремный двор. Обычная прогулка заключенных, во время которой произошел побег, была прервана. Двор обезлюдел и затих. Прямо над головой висело яркое южное солнце, обдававшее землю зноем.

— Я вас спрашиваю,— горестно допытывался начальник тюрьмы у надзирателя, в первый раз называя его на «вы» и тем самым подчеркивая силу своего гнева,— я вас спрашиваю, как он мог бежать среди бела дня, на глазах у охраны? Ведь стены имеют пять аршин высоты. Через эти стены можно только на крыльях перелететь. Но Камо — не птица же!

Надзиратели, караульный начальник и даже солдаты бродили по двору унылые, удрученные. Они похожи были на гончих, из-под самого носа которых улизул заяц.

Начальник рассеянно осмотрелся кругом. Его внимание неожиданно привлекло одно место на стене. Он близко подошел, нагнулся, потрогал какой-то выступ рукой, снова отошел и вдруг закричал:

— Теперь понимаете, как он удрал? Тут вот — выступ — видите? Когда часовой отвернулся, он

дал разбег, впрыгнул на выступ и — готово. Видите, от сильного удара ноги даже кирпич упал. Какая ловкость, а? Какая наглость, черт побери!

В это время на тюремный двор въехал фэзтон.

В фэзтоне сидел военный с большим черным портфелем на коленях.

2

К

люч Морзе выстукивал одно и то же имя необычайно часто и с нетерпеливой настойчивостью.

Из Батума в Тифлис, Чакву, Кобулеты, Нотанеби, в Гори, по всем станциям, по всем полицейским управлениям и портам Черного моря неслись телеграммы:

«Бежал важный политический арестант тчк Возраст 22 года тчк Уроженец Гори тчк Семен Тер-Петросян кличка Камо тчк Волосы черные глаза карие коренастый тчк Немедленно арестовать конвоем препроводить батумскую тюрьму тчк»

Все люди, имевшие отношение к охране существующего порядка, были поставлены на ноги. В ту ночь нервно и часто вытаскивались из карманов паспортные книжки и к лицам людей близко подносился фонарь. Внезапно умолкала музыка. Неожиданно прерывались разговоры,

исчезали улыбки, и глаза толпы тревожно устремлялись в ту сторону, откуда раздавалось многозначительное:

— Господа, предъявите ваши документы. Дам просят не беспокоиться.

Разговоры, звуки музыки, звон посуды и улыбки возобновлялись только тогда, когда группа людей, одетых в мундиры, внушающие страх и почтение, озабоченно исчезала за дверью.

Телеграф работал в ту ночь напрасно, и напрасно причинено было столько беспокойства людям, толпившимся по станциям, ресторанам, кафе и театрам Закавказья. Среди них было много людей с черными волосами и карими глазами, но того, кого искали,— не оказалось.

В ту ночь, когда так усиленно работал телеграф и так настойчиво и безуспешно действовали жандармы, из Батума в Москву шел скорый поезд. Он оставил позади себя буйную зелень и темный туннель Зеленого мыса, на одну минуту остановился в Чакве и пошел дальше. Остановившись опять на одну минуту в Кобулетах и приняв двух пассажиров, он коротким, торопливым свистком послал последний привет Черному морю и помчался на восток.

С этим поездом возвращался в Тифлис товарищ прокурора, который так и не смог допросить политического преступника Петросяна, по кличке — Камо.

Товарищ прокурора хотел спать. Кроме того, его беспокоило происшествие в Батуме. «Да, конечно, они не виноваты,— думал товарищ прокурора, вспоминая беспомощное лицо начальника тюрьмы.— Неужели его не найдут? Этот Камо может доставить немало хлопот. Такой молодой— почти еще мальчишка— и такие жесты... Экспроприация в Квирилах, подкоп под горийское казначейство, организация трех подпольных типографий в Тифлисе— всюду он, всюду— Камо».

Товарищ прокурора представлял носителя этого имени каким-то косматым великаном, убитым сединой, нагруженным бомбами и пироксилином. И вдруг— двадцать два года..

Мимо прошел кондуктор и объявил название ближайшей станции.

Товарищ прокурора снял с себя китель и сел на приготовленную уже постель. В дверь постучали. Товарищ прокурора поморщился.

Дверь открылась. Он с неудовольствием взглянул на человека, слабо освещенного светом верхнего фонаря. На новом пассажире была великолепная черкеска, перетянутая кавказским ремнем с серебряным набором. На ремне висел большой, в серебряной оправе, кинжал. Черные усы и маленькая бородка придавали лицу этого человека выражение строгости.

— Это четвертое купе?— вежливо спросил пассажир.

— Да, четвертое.

Он вошел в купе и, закрыв дверь, опустился на диван.

— Из Кобулет?

— Из Кобулет,— ответил пассажир и улыбнулся. Товарищ прокурора посмотрел на него пристально и подумал: «Какая у него хорошая улыбка!»

— До Тифлиса?

— Да.

Товарищ прокурора поставил на полу рядышком свои сапоги и молча полез под одеяло. Человек в черкеске заложил руки в широкие отвороты рукавов и, откинув голову к стене, закрыл глаза.

В купе номер четыре наступило молчание. Оно, может быть, не нарушилось бы до самого Тифлиса, если бы на станции Самтреди поезд не остановился на несколько минут дольше, чем надлежало ему стоять по расписанию.

Когда в двери купе осторожно постучали, человек в черкеске открыл глаза и поднялся. Он лениво отодвинул дверь. Перед ним стояли жандармы.

— Извините, пожалуйста, за беспокойство... у нас есть предписание — проверить документы всех пассажиров, едущих в поезде. Всего только одна секунда. Разрешите ваши документы, господа?

Человек в черкеске с достоинством, не говоря ни одного слова, опустил руку во внутренний карман, вынул бумажник и, достав из бумажника паспорт, предъявил его жандарму. Тот внимательно прочел, едва слышно щелкнул шпорами и сказал:

— Извините, ваше сиятельство... Заставляет обязанность, долг службы,— и принялся рассматривать документы товарища прокурора.

Когда поезд тронулся, товарищ прокурора с любопытством взглянул на своего попутчика.

— Простите, с кем имею честь?

Человек в черкеске опять улыбнулся своей приятной улыбкой.

— Князь Девдариани.— И, помолчав, добавил:— Не понимаю, зачем вся эта беготня с документами и жандармами?

Прокурор закурил папироску и повернулся к нему лицом:

— Надо,— сказал он внушительно:— бежал очень важный преступник; ничего не поделаешь, князь.

— А кто этот важный преступник?

— Террорист-экспроприатор Камо.

— Камо?— удивился князь,— я что-то слышал о нем.

Товарищ прокурора рассказал спутнику о своей поездке, о дерзком побеге среди бела дня, о том, как ненадежен стал административный

персонал тюрьмы, и о многих других вещах. Затем они говорили о войне, о начинающейся революции, о жарком лете.

Товарищ прокурора сел на постель и закурил. Потом отдернул занавеску на окне.

— Как душно,— сказал он.— Вы позволите открыть окно?

— О, пожалуйста. А, скажите, господин прокурор, вы когда-нибудь видели этого, как его... Камо, кажется?

— Нет, не удостоился еще, но думаю, что скоро увижу.

— Вы уверены в этом?

— Могу ручаться: его в эту же ночь накроют. Вся закавказская полиция поставлена на ноги.

Князь вынул портсигар, зажал в губах папиросу и зажег спичку. Красный свет выхватил из темноты лицо, и прокурору показалось, будто у князя неестественно ярко блеснули глаза. Но блеск этот длился одно мгновение, и возможно, что это было лишь отражение света в глазах.

— Представьте, князь,— сказал вдруг весело прокурор,— я вот присматриваюсь к вам, и мне кажется, что у вас много схожего с приметамы бежавшего преступника. Глаза.. волосы...

Князь лениво прищурился и улыбнулся.

— Вы мне льстите. Я хотел бы на некоторое время стать Камо. Но кроме примет, к сожалению, не обладаю другими его способностями. Вы

так много рассказали о нем, что я начинаю испытывать желание с ним познакомиться.

— Да, личность любопытная.

— Прошу вас, когда он будет находиться в ваших руках, уведоьте меня по этому адресу...

Князь протянул карточку.

— О, с удовольствием,— сказал прокурор, тщетно пытаясь прочесть надпись, сделанную на грузинском языке. Повертев карточку в руках, он сунул ее в портфель.

Когда поезд входил в Михайловский туннель, разговор в четвертом купе прекратился. Собреседники решили, что перед Тифлисом следует немного отдохнуть.

Они легли и проснулись только тогда, когда поезд остановился у перрона тифлисского вокзала.

Прокурор открыл глаза, вылез из-под одеяла и взглянул на своего попутчика. Тот, стоя у окна, пристально смотрел на перрон. По-видимому, князь Девдариани был озабочен отсутствием людей, которые должны были его встретить.

Через пять минут они выходили из вагона, весело болтая. По перрону носились стройные красавцы в синих брюках, звеня шпорами. Трое из них преградили путь пассажирам четвертого купе, затем один смущенно улыбнулся, молодецкато отдал честь товарищу прокурора и бросился освобождать проход в толпе.

— Здравствуй, Максимов!— кивнул ему товарищ прокурора.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

— Ничего неизвестно о бежавшем?

— Так точно, ничего неизвестно, ваше высокоблагородие!

— Ай-яй-яй...

Товарищ прокурора прошел с князем в буфет. Там они заняли столик и потребовали завтрак. Жандармский офицер, подошедший к столу, рассказал, что бежавшего из батумской тюрьмы арестанта ждут с поездом, в котором приехал прокурор. Обыск еще не окончен.

— Он не даст результатов,— равнодушно сказал князь,— дурак, что ли, Камо, чтобы ехать до самого Тифлиса?

Офицер снисходительно пожал плечами и откланялся.

Когда завтрак был окончен, прокурор, пожимая руку Девдариани, сказал:

— Я хотел бы, князь, встречаться с вами, если только мое общество может доставить вам удовольствие. Вот моя карточка.

Князь улыбнулся.

— Конечно, мы еще с вами встретимся, господин прокурор... Непременно встретимся.

После ухода князя товарищ прокурора подошел к себе жандармского унтер-офицера.

— Максимов, ты знаешь грузинский язык?

— Точно так, вашскродь.

Товарищ прокурора полез в портфель, достал карточку и подал ее унтер-офицеру:

— Переведи. Дал мне князь свою карточку, но написал по-грузински.

Рассматривая белый кусочек картона, унтер-офицер с удивлением переворачивал его и, по-видимому, ничего не понимал.

— Ну, какой его адрес?

— Никакого тут адреса, вашскродь, нету.

— Как нет?

— Так точно, нет.

— А что же там написано?

— Тут написано, вашскродь, если по-русски перевести: «Хоть ты и Иван, да болван».

— И больше ничего?

— Так точно, ничего.

— Подлец...

— Это кто, вашскродь?

— Не ты, не ты,— угрюмо проронил прокурор и, не сказав больше ни слова, быстро пошел к выходу.



ело Камо, заведенное в тифлиском губернском жандармском управлении, оставалось без движения целый год после его побега из батумской тюрьмы. Оно лежало в шка-

3

фу под замком, в груди других синих папок. Папка была, но тот, кому посвящалось содержимое папки,— отсутствовал. Полиции известно было только одно: что Камо бежал из Батума в Тифлис. Дальше следы терялись. Поиски не дали никаких результатов.

И только в декабре 1905 года следователь по особо важным делам опять извлек «дело» из шкафа, чтобы пополнить его новыми данными. Революционная литература, рабочие собрания на Нахаловке, в депо, таинственная подпольная типография, какие-то контрабандные транспорты оружия, рабочая дружина,— все это опять тесно связывалось с именем Камо.

Наместник е. и. в. на Кавказе граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков страдал бессонницей. Бывали периоды, когда старик целые ночи напролет ворочался с боку на бок, мучительно хотел заснуть и не мог. Тогда он поднимался, надевал свой шелковый халат и отправлялся в кабинет. Там он медленным, тяжелым движением опускался в кресло и принимался просматривать бумаги, приготовленные еще с вечера начальником канцелярии.

Один раз, когда бессонница особенно удручала его, он вспомнил, что у него в портфеле уже целую неделю лежит непросмотренный доклад особого отдела управления наместника на

Кавказе. Он отыскал этот доклад и углубился в чтение.

В докладе сообщалось, что национальная вражда в Тифлисе грозит принять формы совершенно нежелательные для правительства и вылиться в анархию...

«Да, да, с этим пора покончить»,— подумал он, отрывая от доклада тяжелую голову.

«Эту затянувшуюся и уже ставшую опасной игру с межнациональной резней надо прекратить»,— советовал доклад.— Общество напугано; оно видит, что сквозь армяно-татарские столкновения недвусмысленно проглядывает рука правительства. Результаты межнациональных столкновений ничтожны — ими не удалось отвлечь внимания демократии от революции; наоборот, резня дает революционным элементам огромный козырь, а именно — возможность агитировать в том смысле, что правительство сознательно натравливает одну национальность на другую. Момент опасный. Такая политика грозит привести к результатам совсем неожиданным: волна взаимных армяно-татарских погромов может изменить русло и обрушиться на правительственные органы...»

Граф Илларион Иванович остановился в этом месте и отложил доклад. Его грузное тело поднялось с кресла. Заложив руки назад и опустив голову, он принялся расхаживать по кабинету.

«Куда мчится этот бурный человеческий поток? Что ему надо? И знает ли он сам — куда льется?»

Мысль наместника работала медленно, тяжело. «Да, докладчик прав. Мы слишком увлеклись с этой политикой возбуждения одних наций против других. Надо кончать. Погромы необходимы для отвлечения масс от революций, но всему надо знать меру».

Он снова подошел к креслу, медленно, старческим движением опустил в него и принялся рассматривать документы, приложенные к докладу. Донесения жандармского управления, записки городской управы, доклад губернатора, все эти бумаги в один голос утверждали, что правительственной власти в Закавказье угрожает опасность. На почве межнациональных столкновений идут волнения среди рабочих. Рабочие требуют немедленно прекратить погромы.

«Рабочие,— подумал Илларион Иванович,— они, может быть, еще потребуют всеобщего избирательного права, выборного губернатора?.. Тоже нашли, на кого ссылаться... Рабочие!.. А гаек они не хотят? Рабочие...»

Наместник на Кавказе не принял никакого решения до самого утра. Перед рассветом он прилег. Удалось заснуть на несколько часов, а днем он потребовал начальника особого отдела своей канцелярии и велел сделать доклад о погромах.

— Вашему сиятельству, по-видимому, известно общее положение из моего письменного доклада...

Воронцов-Дашков сделал нетерпеливый жест. Он дал понять, что его интересует не «общее положение», а нечто другое.

— Что в данном случае надо предпринять?— спросил он устало.

Начальник особого отдела наклонил голову:

— Разрешите говорить искренно, ваше сиятельство?

— Да, да, пожалуйста.

— Надо вооружить рабочих.

— Что? Вооружить?.. Рабочих вооружить? Вы что, милейший?..

— Совершенно серьезно, ваше сиятельство, таково мнение всех высших чинов.

— Странно, я вас не понимаю,— угрюмо уронил наместник.

— Разрешите объяснить?

— Ну?

— Видите ли, ваше сиятельство, если мы введем порядок собственными средствами, при помощи наших казаков и жандармов, то у широких масс населения, в том числе и у рабочих, возникнет естественный вопрос — почему же мы, в таком случае, не предприняли того же самого раньше? Почему мы все время заявляли, что правительственная власть не в состоянии пода-

вить погромы?.. Теперь вы меня понимаете, ваше сиятельство?

Наместник улыбнулся. Он только теперь начал понимать ловкость своих чиновников.

— Да, да, мне кажется, вы действительно правы. Вы хотите доказать обществу искренность наших заявлений. «Мы были бессильны вести борьбу с резней»... Мы-де и сейчас не в состоянии вести этой борьбы... Тем самым мы создаем для себя благоприятные настроения. Понятно... Это ловко. В то же время, выдав оружие рабочим, мы делаем демократический жест: власти, мол, думают точно так же, как и все общество.

— Совершенно правильно, ваше сиятельство. К тому же мы успокаиваем общественное мнение. Мы подчеркиваем, что власть идет в ногу с демократией и не только доверяет ей, но и чувствует в демократии опору, понимаете — опору! Тут три убитых зайца — поднятие престижа власти, успокоение общественного мнения и моральное разоружение рабочих...

Воронцов поднялся. Его лицо стало добродушным, спокойным. В отгоравших тусклых глазах мелькнул огонек удовлетворения.

— Я согласен. Выдайте рабочим винтовки...

— Простите, ваше сиятельство,—вежливо прервал его начальник отдела,— не винтовки, а только берданки... Винтовки, это немного опасно... Нужно всего только шестьсот берданок.

— Берданки так берданки. Мне все равно.

— Берданки мы выдаем рабочим под поручительство демократических лидеров, с той целью, чтобы мы знали тех людей, которые отвечают за сохранность и целостность оружия...

— Пусть будут лидеры... Согласен.

Так выданы были шестьсот берданок рабочим, проживающим в предместье Тифлиса — Нахаловке.

Погромы закончились уже давно. Но нахаловские рабочие медлили со сдачей оружия. Жандармское управление трижды требовало от демократических лидеров сдать берданки по принадлежности, но безуспешно. Лидеры говорили о непрекратившейся еще резне, о какой-то опасности, о том, что погромы могут возникнуть снова, если рабочих лишит оружие.

Впрочем, жандармское управление не доверяло ни лидерам, ни рабочим. Его меньше всего беспокоило, будет или не будет резня. Оно боялось другого — погрома правительственных учреждений.

В

тот день, когда следователь углубился в чтение «дела» Камо, жандармское управление получило секретный пакет из особого отдела канцелярии наместника е. и. в. графа Илла-

района Ивана Ивановича Воронцова-Дашкова. Пакет со-держал в себе бумажку с коротеньким, холод-ным, но категорическим предложением: немед-ленно разоружить живущих в Нахаловке рабочих.

В тот же день под вечер выяснилось, что ра-бочие отказались сдать берданки. Им послали ультиматум. Нахаловка ультиматум отвергла и взбунтовалась.

Старый жандармский полковник сам руково-дил операциями на нахаловском фронте. Он окружил предместье с трех сторон. Ему донесли: рабочие лежат в цепи. Они вооружены бердан-ками. Они решили стрелать по войскам.

«Бунт, анархия, черт знает что... И чем это все кончится»,— думал полковник, сурово осмат-ривая тревожную местность.

Полковник командовал эскадронном казачьим, но он колебался и не предпринимал решитель-ных мер.

Он снова послал парламентариев, и они верну-лись с тем же ответом: оружие сдано не будет.

Ему не хотелось устраивать стрельбы, боя, грома, кровавой грязи,— он намерен был ликви-дировать беспорядки тихо, по возможности без жертв, ибо выстрелы и трупы не входили в рас-четы канцелярии заместителя.

Наконец полковник принял какое-то решение. Он подозвал вахмистра и, показывая на гору, принялся что-то объяснять ему.

Еще задолго до того, как жандармское управ-ление предъявило рабочим свой ультиматум, в Нахаловке начались приготовления к встрече воо-руженного отряда казаков. Комитет действия знал: власти не остановятся ни перед чем, что-бы вернуть берданки.

В работу комитета целиком были втянуты все члены Кавказского Союзного Комитета РСДРП, объединявшего тогда и меньшевиков и больше-виков.

Все дни, предшествующие бою, в комитете шли совещания. Основной вопрос, который об-суждался в нем,— оружие. Возвращать или нет? Несколько дней подряд длилось обсуждение во-проса. Много раз вокруг него возникали горячие прения и каждый раз совещание оканчивалось ничем. Никакого решения достигнуто не было. Добиться единого мнения не удавалось.

В тот день, когда предъявлен был ультиматум, для Нахаловки стало очевидно, что вооруженно-го вмешательства властей не отворотить. И тогда на совещании между отдельными группировками разразился такой бурный конфликт, что были мо-менты, когда дело доходило чуть ли не до стрельбы из револьверов.

Фракция меньшевиков стояла на позиции под-чинения ультиматуму. Оружие должно быть воз-вращено. В противном случае на Нахаловку об-рушатся неотвратимые бедствия. Нахаловка будет

залита кровью; начнутся массовые аресты, репрессии. Демократии грозит величайшая опасность. Вооруженное выступление, которого добиваются большевики, все равно обречено на неудачу. Это может привести к разгрому революции вообще. Власти не остановятся ни перед чем, чтобы раздвинуть восставших. Против могущества вооруженной силы властей рабочим не устоять. Пуска не поздно, оружие надо сложить... послать делегацию и объяснить инцидент недоразумением.

Так говорили представители фракции меньшевиков. И едва только умолкали последние слова ораторов, как в аудитории поднимался неистовый шум:

— Что? Сдать оружие? Никогда! Рабочие без боя не выпустят берданки из своих рук.

— Авантюра!

— Трусы!

— Долой ренегатов!

— Да здравствует революция!

— К черту соглашателей!

— В бой!

— Товарищи, внимание! Товарищи, спокойствие! Выдержка! Надо же быть серьезными... Тихо! Да замолчите же! Черт знает, взрослые люди, а не умеют себя вести!

— Долой трусов! Пусть трусы идут во дворец к наместнику!

— Рабочие оружия не выдадут!

— Замолчите же... Дайте говорить оратору!

— Это капитуляция перед жандармами!

— Опомнитесь! Тише! Тише, товарищи, надо спокойно и серьезно обсудить вопрос!

— Никаких обсуждений! И без того ясно! К оружию, и все! Довольно!

— Да здравствует гражданская война!

Неизвестно, как долго продолжались бы все эти споры, если бы у места, предназначенного для ораторов, внезапно не появился человек с бледным, худым лицом и горящими глазами. Его рука простерлась к собранию. Он выждал, когда затих шум, и затем громко произнес:

— Стало известно, товарищи, что сюда направляется казачья сотня. Готовы ли мы к бою, к обороне?

Все сидели и молчали. Собрание было смущено этим неожиданным известием.

— Прошу высказаться,— сказал председатель.

Минутная пауза прошла бесконечно долго.

— Ну как же быть? Выдавать оружие или встречать с боем?

Кто-то сказал:

— В бой!

— Сдать оружие,— послышался голос.

— Никаких капитуляций! Умрем, но оружия не сложим!

— Правильно! — раздался голоса.

— Тут нам хотят доказать бессмысленность вооруженного восстания рабочих,— продолжал человек.— Я спрашиваю у тех, кто стоит за повинование начальству:— может быть, *вы* прикажете и революцию отменить? Может быть, лучше пойти на поклон к наместнику и раскаяться в своих грехах? Он простит нас и великодушно отпустит по домам... Согласны? Пусть тысячи рабочих томятся в тюрьмах, пусть полиция производит ночные налеты на рабочие кварталы, пусть все Закавказье, вся Россия задыхается под кровавой пятой жандармерии, пусть дети рабочих пухнут от голода и матери плачут по угнанным на каторгу сыновьям! Пусть! Мы будем созерцать все это спокойно! Мы не возражаем! Мы поддерживаем! Надо отдать оружие! Надо отдать на произвол жандармерии рабочий класс Тифлиса! Не важно, что завтра будет повешено, расстреляно и брошено в Метех тысячи людей— важно установить мир с начальством, не раздражать, не беспокоить его, дать ему возможность спать без тревог. Вернем берданки! То, что произойдет через час после того, как мы сложим оружие, не должно волновать сторонников повинования. Какое им дело до брошенных на произвол рабочих?

Оратор выдержал паузу. Он сжал руки в кулаки. Шея его втянулась в плечи. Он стал еще бледнее и почти шепотом уронил:

— Нет, этого не будет... Берданки останутся в руках рабочих, и все мы, вместе с ними — или победим или умрем. Пусть узнают жандармы, что они не могут запугать нас ничем. Мы не дрогнем перед их штыками и докажем, что безнаказанно угнетать мы себя не дадим. Берданки — наше достояние. Отдать их — это значит самим себе вырыть могилу. А если кто-нибудь думает иначе, то пусть идет домой и спит спокойно. Мы и без него в состоянии показать врагу силу рабочего класса!

Последние слова оратора потонули в громе аплодисментов и криков.

— Камо, правильно! Так их, Камо!

Фракция меньшевиков молчала, и это молчание нарушил председатель собрания.

— Очевидно, товарищи,— сказал он,— нам придется сражаться если не сегодня, то завтра, если не завтра, то через месяц или через год. Вооруженное столкновение неизбежно — лучше его начать сейчас. Иначе нашу уступку в выдаче берданок могут истолковать во дворце как капитуляцию, как сдачу на милость победителя, а это грозит слишком тяжелыми для нас последствиями.

Собрание слушало, затаив дыхание. Председатель, вероятно, продолжал бы свою речь, но в эту минуту в дверях появилась группа вооруженных рабочих. Тот, кто вошел первым, про-

брался к столу президиума и, поставив ружье у ног, громко сказал:

— Товарищи, казаки двигаются. Рабочие требуют вас на фронт. Они решили не сдавать оружия и защищаться до конца. Время не ждет.

По предложению рабочих тут же был выбран боевой штаб. Собрание закрылось само собой, и участники его разошлись.

В это время казачья сотня уже подходила к Нахаловке.

Разбившись на дружины, вооруженные рабочие заняли подступы к слободке.

Камо руководил операциями отряда в сто человек. Ему поручено было защищать один из самых опасных участков фронта. Бойцы залегли в цепи в ожидании противника. У всех было такое настроение, будто они готовились не к кровавому столкновению, не к приближению смерти, а к какой-то веселой игре. Многие шутили, смеялись.

Какой-то рабочий в косоворотке, больших сапогах, небритый вел по цепям маленького мальчика, очевидно, сына. Мальчик шел быстро. Ему было весело. Он все время посматривал на лицо отца и улыбался. Отец был угрюм и нес на плечах ружье так, будто это было не ружье, а копысло.

Другой боец низким угрюмым басом убеждал плакавшую жену:

— Ты иди домой, тебе тут нечего делать...

Она смотрела испуганными, слезящимися глазами, вытирала подолом нос и все твердила:

— Да что ж это вы задумали, а? Детей-то... детей хоть пожалели бы...

— Уйди,— гремел он,— уйди, наказание мое... Понимаешь: не твоего ума дело. Да уйди же ты,— крикнул он вне себя и, схватив ее за руку, быстро повел куда-то прочь.

— Бабе и тут сует свой нос,— сказал кто-то и сплюнул.

Но вдруг по всем дружинам пронеслось тревожное, жесткое слово:

— Казаки...

Дружины замерли. Женщины, дети метнулись назад. Дула ружей направились в ту сторону, откуда ленивой и осторожной поступью двигались, поднимая пыль, всадники.

Камо все время беспокоила мысль о том, что одна из сторон Нахаловки остается никем не защищенной. Там, правда, подступы имеют естественное препятствие — гору. Все силы брошены в наиболее доступные для противника места. Но Камо все время казалось, что неприятель может появиться и со стороны горы.

Он метался по цепи, отдавал распоряжения, назначал прицел, шутил, улыбался и был похож на человека, с головой ушедшего в устройство какого-то большого шумного праздника.

— Нас они еще не знают,— говорил он,— но сегодня мы покажем себя. «Здравия желаем, вашскородь, пришли понюхать — чем пахнет Нахаловка? Милости просим!..» Целься, ребята, в голову лошади — попадешь казаку в живот. Докажем, что мы умеем стрелять не хуже их.

Где-то вдали тишину прорезали выстрелы. Это стреляли по движущимся казакам. Среди них, казалось, была какая-то неуверенность. Они остановились, по-видимому, ожидая дальнейших приказаний начальства. Вот они тронули лошадей и медленным шагом двинулись в сторону позиций. В тот же момент позиции ответили залпами.

Камо поднял из цепи десять человек.

— За мной, товарищи, к горе... быстро...

Он бежал, спотыкаясь о кочки, туда, где осталась незащищенная позиция. За ним, взяв берданки наперевес, спешили десять рабочих. Вот они у подножия горы. Они карабкаются по горе... взобрались на вершину. Внизу — выстрелы и крики «ура». Там идет бой...

Камо хотел взглянуть вниз, но в ту же минуту, прямо в лицо ему двинулась лошадиная морда. Он увидел печально-испуганные глаза лошади, услышал храп. Что-то загрохотало, завыло, ринулось на него тяжелой, темной массой и сбило с ног. Он ударился лицом о землю. Совсем близко — выстрелы. Почему такие громкие, такие оглушительные выстрелы, будто из орудия?

Камо быстро поднялся и приложил к плечу ложе берданки. Его глаза остановились на казаке. Он прицелился и выстрелил. В то же мгновение казак уткнулся лицом в гриву лошади. Она взметнулась и помчалась в сторону. Всадник свалился. Камо побежал, но споткнулся о чье-то недвижно лежавшее тело и упал. Что-то со свистом мелькнуло мимо, и Камо почувствовал удар в затылок. Одно мгновение ему показалось, что он теряет сознание, но он сделал над собой усилие и поднялся. Кровь горячими струями текла по лицу; он ощущал ее на шее, за воротником. И вот он скорее почувствовал, чем увидел и осознал, что его окружили, за него уцепились чьи-то руки. Его держат... над ним ругаются мрачными ругательствами... Он — в плену...

Восемь конных казаков, окружив его тесным кольцом, повели в управление. Когда его уводили, один, смертельно раненый, с трудом поднялся на руки, устремил догорающие глаза на пленного и простонал:

— Прощай, Камо... Мы еще увидимся.

Казакий вахмистр вздрогнул и пристально взглянул на пленного. Потом близко наклонился к нему и с суровым удивлением спросил:

— Это ты, Камо?

Но пленник старался остановить платком лившуюся из головы кровь. Вопросы вахмистра он не слышал.

Конвой не хотел замечать мучений пленника. Вахмистр все добивался сведений о складах оружия, о местопребывании бунтовщического штаба, но, не добившись ничего, внезапно остановился и объявил, что пленного надо повесить. Однако под рукой не оказалось веревки. Оборванного, покрытого кровью, Камо доставили в тюрьму.

Его бросили в одну из переполненных камер. Он истекал кровью, медленно сочившейся из головы и заливавшей глаза. Вдруг кто-то тронул Камо за плечо:

Перед ним стоял человек с молодым, почти еще юношеским лицом.

— Вот вам вода, — сказал он, — умойтесь, обмойте голову.

— Да, да, спасибо... Это очень хорошо.

Человек принялся лить ему на голову воду. Вода стекала прямо на цементный пол и убежала под нары. Обитатели камеры привыкли к таким обмываниям и к окровавленным людям. Все оставались равнодушными к происходившему у стены.

Камо дали полотенце. Он вытер голову, лицо и окончательно пришел в себя. Около него заботливо хлопотал с ведром воды и полотенцем все тот же молодой человек.

— Спасибо вам, товарищ, — сказал Камо.

— Где тебя захватили? — спросил молодой человек.

— На Нахаловке.

— Там, на горе, где начался бой?

— Да.

— Меня тоже поймали там три часа назад, хотя я и не дрался и был без оружия, а так... ходил смотреть. Долго ли они меня теперь продержат?

Он промолчал и со вздохом добавил:

— А может быть, предадут военному суду?

— А ты боишься суда?

— Нет, не боюсь. Не хочется только отвечать за то, чего не делал... Жалко, что и я не был вместе с рабочими.

— Ничего, все будет хорошо.

— Говорят, там дрался Камо и его зарубили казаки. С десятком людей он пошел отстаивать позицию от целого эскадрона. Жалко, — такой замечательный революционер.

Камо посмотрел на него.

— А что ты слышал про него?

— Многое слышал. Разве ты ничего не знаешь о Камо?

— А ты кто такой?

— Я фармацевт из аптеки Рухардзе. У меня мать, и она не любит, когда я шляюсь там, где идет стрельба. А мне нравится все это. Только почему это они сажают ни в чем неповинных людей, простых зрителей? Вот если бы за что-нибудь посадили... Ну был, скажем, на Нахалов-

ке вместе с другими рабочими — это другое дело. По крайней мере, за революцию сидел бы.

Камо вдруг задумался.

— Вот что, товарищ, ты хотел бы послужить революции?

— Революции? Еще бы! Но как можно, сидя в тюрьме, сделать что-нибудь для революции? Революционером каждому хочется быть, да не каждый сможет.

Камо взял его за руку.

— Ты никогда не видал Камо?

— Сегодня, на Нахаловке, только издали. Он показался мне совсем молодым.

— Видишь ли... Камо совсем не убит. Он жив. Он сейчас в тюрьме, в этой камере, перед тобой. Я — Камо.

Фармацевт изумленно открыл глаза, покраснел, потом заулыбался и, казалось, не мог найти для себя подходящего выражения лица.

— Ты... ты Камо! Ну да, я так и знал. Хоть и болтали тут, что тебя убили, но я не верил. Как можно убить Камо!

— Слушай дальше. Время дорого. Как твоя фамилия?

— Шаншиашвили.

— Так вот, если ты хочешь быть революционером, ты им станешь здесь, в тюрьме. В твоей власти меня спасти. Меня могут повесить завтра, послезавтра, через неделю. Непременно повесят.

Сейчас я убил казака, а в прошлом за мной много других дел. Меня не помилуют, понимаешь?

— Как все это можно сделать? — спросил фармацевт.

Камо поправил свои повязки и тихо сказал:

— Дело очень простое. Здесь, в тюрьме, мы обменяемся одеждой. Ты дашь мне свои документы. Ни меня, ни тебя еще не допрашивали. Меня в лицо здесь не знают, и ты немногим моложе меня. Ты будешь Камо, я — Шаншиашвили, а все остальное я сделаю сам. Главное, пока я здесь, в тюрьме, ты на допросе должен держаться как Камо. А потом можешь снова стать Шаншиашвили...

Он пристально посмотрел на фармацевта, ожидая его решения.

— Я согласен, — сказал фармацевт. — Но как я должен сделать из себя Камо?

— Главное, держись гордо. Отвечай на вопросы дерзко. А если не будешь знать, как отвечать — молчи, будто ты все знаешь, но не желаешь говорить.

С этого момента Камо стал Шаншиашвили и Шаншиашвили — Камо.

В тот же день Камо был допрошен следователем. Арестованный держался вызывающе. На все вопросы он отвечал презрительным молчанием и взбесил следователя, который от него реши-

тельно ничего не добился. «Жуткий субъект, — подумал следователь.— Но все равно теперь ему — крышка...»

Камо возвратился в свою камеру.

Вслед за тем следователь вызвал Шаншиашвили и с первого же вопроса понял, что перед ним глуповатое нескладное существо.

«Хорош «бунтовщик», у которого дрожат от страха колени и который вот-вот разревется». Следователю стало даже неприятно от того, что тюрьму наполняют такими «революционерами»...

Шаншиашвили не выдержал и расплакался. Он несомненно был перепуган насмерть... Он не мог примириться с мыслью, что его называют «арестованный». За что? Неужели он сделал какое-нибудь преступление? Придерживая повязку на голове, он объяснил, что во время свалки он упал и расшиб голову об острый камень. Он чистосердечно рассказал, не скрывая ни одной подробности, как он попал на Нахаловку после дежурства в аптеке Рухардзе, где он служил аптекарским учеником, как он шел на свидание к своей невесте, живущей на Нахаловке, и как стыдно ему теперь появиться дома, встретиться с невестой, и как волнуется сейчас его мать.

Следователя рассмешило и тронуло признание арестованного.

Наивная, чистосердечная исповедь глуповатого молодого человека, случайно попавшего в такую

катавасию, развеселила его. Но долг требовал строгости.

— А вы знаете Камо?

— Как же не знать камо! Еще бы не знать камо.

Следователь насторожился:

— Где же вы его видели?

— Гм... странно. Его высокоблагородие следователь тоже, наверное, не раз видели камо. Оно растет в поле — кто ж этого не знает, трава такая... В поле сколько угодно камо...

— Фу, какой болван! Не трава... не о траве идет речь, а о человеке.

И, безнадежно вздохнув, он заставил Шаншиашвили расписаться под протоколом. Затем вызвал надзирателя и распорядился отправить фармацевта в ближайший полицейский участок с тем, чтобы оттуда, в сопровождении городского, арестованного доставили и сдали под расписку в участок того района, где проживает его мать.

Шаншиашвили отправили из тюрьмы в полицейский участок и сдали там под расписку дежурному. Дежурный сдал арестованного городовому, которому надлежало доставить его в соответствующий участок. Городовой долго ворчал, что вот — изволь сопровождать всех этих сукиных сынов. Но когда фармацевт предложил взять на свой счет извозчика, он стал добрее.

Они поехали. Извозчик, нисколько не торопясь, тряс их по булыжным мостовым Тифлиса. Городовой снисходительно слушал веселый вздор фармацевта, объяснявшего, как он поедет к своей невесте, как женится, как родится у них ребенок и как пригласят они господина городовой на крестины, если только господин городовой окажет им честь своим присутствием...

Внезапно поток радостных слов прекратился. Фармацевт стал печальным и задумчивым.

— Чего же ты замолчал?—спросил городовой.

— Ваше благородие, стыдно... Право...

— Что стыдно?

— Засмеют товарищи и вся улица засмеет. Опозорил себя на всю жизнь... И невеста не пойдет за арестанта замуж.

— Пойдет,—ухмыльнулся городовой.

— Нет, не пойдет. «Арестант» — самое плохое слово. Позвольте мне самому, ваше благородие, без вас поехать в участок. Скажут: «Вон Шаншиашвили городовой привез». Стыдно, ей-богу.

Городовой раздумывал, не зная, как быть. Молодого человека жалко, но в то же время — долг службы. Впрочем, он сразу перестал колебаться, когда ощутил в своей руке пальцы арестанта, настойчиво совавшего бумажку. «Пятерка или трешница?»

— Ну, ладно, езжай сам. Стой, извозчик.

Городовой слез и вручил извозчику пакет, на-

казав передать пакет вместе с арестованным дежурному по участку.

— До свиданья, ваше благородие. А на крестины — приходите!

На следующий день в тюрьму явился следователь по особо важным делам. Первый, кого он вызвал, был Камо. Следователь долго и пристально смотрел на арестованного. Тот остановился у двери.

— Подойдите сюда ближе, арестованный. Вот так... «Какое у него все-таки незначительное лицо. Не ожидал...» Ну-с, расскажите нам, как вы сражались, как бежали из батумской тюрьмы? Впрочем, нам придется еще беседовать о типографии, оружии, подкопе под горийское казначейство... Вообще, много о чем. Что? Однако вы совсем еще молодой человек, а дела такие громкие. Признаться, я представлял вас совсем другим.

Арестованный шагнул ближе к столу и вдруг согнулся, уронил руки на колени и, вздрагивая всем телом, залился мелким, долгим смехом.

— Я такой же Камо, как и вы. Я — фармацевт Шаншиашвили... Камо — фьють! Нет Камо. Его еще вчера здесь не стало.

Следователь схватился за портфель, перевел глаза на ошалевшего начальника тюрьмы и, уже не владея собой, прошипел:

— Позвольте, что все это значит? Кто устроил всю эту комедию? Я ничего не понимаю. Приведите мне Камо! Ка-а-мо!..

Снова летели бумажки и звонил телефон из тюрьмы в жандармское управление. Опять синяя папка была потревожена. Ее извлекли из шкафа, развернули, долго и аккуратно перелистывая сшитые листы, и так же аккуратно подшивали новые бумаги. Синяя папка вздувалась и превращалась в настоящий гроссбух. Только что подшитые донесения уступали место протоколам. За протоколами следовали отношения, к отношениям прилагались дознания, к дознаниям пришивались сводки наблюдений; сводки чередовались с рапортами, рапорты чередовались с уведомлениями и письмами.

«...На основании дознания, учиненного моим старшим помощником, имею честь донести, что третьего дня, вечером, на товарной станции обнаружены были ящики с пометкой «электрические принадлежности», прибывшие в адрес «предъявителю дубликата ж.-д. накладной». Полицейскому агенту, несшему службу на товарной станции, вышеупомянутые ящики показались подозрительными, и он не преминул произвести их осмотр. Вместо электрических принадлежностей в ящиках оказались патроны, переправленные революционными организациями, очевидно, для

преступных целей, из Батума в Тифлис. Дальнейшее следствие, продолженное по сему поводу уже мной лично, с бесспорностью установило, что вышеуказанные патроны отправлено из Батума лицо, по всем признакам являющееся не кем иным, как известным вам Камо, который к настоящему моменту должен находиться уже в Тифлисе».

Содержание бумаг было чрезвычайно пестрое. Все они сводились к одной цели — предупредить, навести на след, открыть местопребывание того, кому посвящались бумаги. Они неслись сюда в больших, тяжелых пакетах, в разносных книгах, с надписями на конвертах — «весьма секретно», «совершенно конфиденциально», били тревогу, предупреждали, докладывали, ставили в известность.

«...Обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что сегодня в багажное отделение тифлисского вокзала явились трое неизвестных и предъявили квитанции на получение багажа, прибывшего из Батума. На плотно упакованных деревянных ящиках значилась надпись: «мандарины». В крышке одного из ящиков доска оказалась отодранной, и железнодорожный агент заметил, что в ящике упакованы были не мандарины, а винтовки. Когда он спросил, почему в ящиках вместо мандаринов — винтовки и в чей адрес следует оружие, один из неизвестных, приставив

к его груди револьвер, приказал молчать, а своим единомышленникам предложил скорее вытаскивать ящики на перрон. Багаж был бы унесен неизвестными, если бы в тот момент не вошли в багажное отделение пассажиры. Сбив одного из них с ног, неизвестный, угрожавший железнодорожному агенту револьвером, выскочил на перрон и вместе с остальными злоумышленниками скрылся.

По срочно наведенным справкам и дознанию, учиненному жандармским унтер-офицером, неизвестный, грозивший револьвером, был не кто иной, как известный вам Камо».

После описанного случая поток бумаг, заполнявших синюю папку, на некоторое время прекратился.

Но вскоре он опять возобновился. Содержание новой бумаги затмевало содержание почти всей летописи, втиснутой в папку. В ней, между прочим, указывалось:

«...Только сейчас стало известно, при каких обстоятельствах произошел побег из Метехского замка 32 политических преступников. Снаружи, под стенами замка, неизвестными был прорыт подземный ход, который весьма искусно был подведен под камеры заключенных. Глубокой ночью, при помощи и поддержке злоумышленников, заключенным удалось выйти на свободу. Снаряженная утром погоня не дала никаких ре-

зультатов. Путем допроса одного из служителей замка, сознавшегося в своем соучастии, удалось установить, что подкопом, а затем и побегом руководил известный политический преступник Камо. К сожалению, ни места его пребывания, ни имена участников организации побега установить не удалось».

В

5
...любое распоряжение комитета для солдата революции — свято и неоспоримо. Если комитет пошлет бойца на неизбежную смерть, боец должен подчиниться. В собственной своей жизни ни один революционер не волен. Если большинство приняло решение, оно не может быть не выполнено отдельной личностью. В этом — жизненная сила революции.

Так говорил Камо, снаряжая в дорогу Гоги, на которого возлагалась задача доставить ящики с литературой в Озургеты.

Он осмотрел костюм, в который должен тот облечься, еще раз проверил, хорошо ли имитирует он крестьянский говор, снова повторил план, по которому должен был действовать юноша, опять осмотрел его любовно и заботливо, как осматривает мать своего ребенка, и улыбнулся:

— Вот так... Вот и прекрасно, Гоги. Из тебя выйдет настоящий боевик. Такие люди нужны ре-

волюции. Ну-ка повернись. Прекрасно. А теперь пройдишь. Так. Покажи, как ты будешь жаловаться жандарму на то, что в твоём ящике разбились яйца. Нет, не так. Ты должен обязательно заплакать. Ты должен обратиться к нему — «ваше благородие». Попробуй-ка сделать. Вот так. Теперь правильно. Главное, когда ты играешь какую-нибудь роль, играй ее так, чтобы совсем забыть самого себя. Это трудное, но прекрасное искусство. Каждый революционер должен играть в жизни, как настоящий актер на сцене. Это — главная защита. Если мы не усвоим искусства игры, нас задушат, как цыплят. Попробуй-ка показать, как ходят кондукторы товарных поездов на станциях. Нет, немного не так — слишком быстро. Они ходят медленно и вразвалку. Вот так — наблюдай внимательно. Они оглушены долгой дорогой, грохотом вагонов, качкой, бессонными ночами. Они не могут на станциях ходить быстро. А ну-ка, покажи, Датико, как просят на папертях профессиональные нищие. Обойди завтра же церкви и хорошенько всмотришься. Ты плохо знаешь нищих. Нам пригодится умение представлять и нищих...

В боевой организации, которой руководил Камо, находился отряд молодых, только что пришедших в партию революционеров. Большинство из них пришло сюда прямо со школьной скамьи. Все они поступали к нему на выучку.

Камо с огромным воодушевлением выполнял поручение комитета — выработать из этих неопытных, нередко наивных подростков будущих закаленных революционеров. Он любил занятия с ними. Занятия эти доставляли ему подлинное наслаждение. Он был строг и требователен, даже суров в минуты выполнения заданий. Он способен был стрелять в каждого, кто нарушал его директивы. Но в то же время он любил и оберегал их как старший брат...

Впрочем, руководство молодежью являлось лишь одной из незначительных работ Камо. Ему приходилось выполнять множество других поручений комитета, которые мог выполнить только он один.

Вот ему надо пойти в типографию. Там что-то случилось. Полиция как будто напала на ее след. Надо срочно подыскать другое место и перевести всю эту махину в безопасное помещение. Надо придумать способы перевозки. Нельзя откладывать ни на одну минуту. «Вот что, типографию мы перевезем на свалку под видом мусора, — соображал Камо. — Зароем за городом, а там видно будет». И он отвозил типографию на мусорную свалку, оттуда мчался на товарную станцию — справиться о грузе, отправленном еще неделю назад из Батума. Здесь требуется величайшая осторожность. Ящик патронов обнаружен — полиция следит за грузами.

С товарной станции он бежал на телеграф, с телеграфа — в железнодорожные мастерские, отсюда — к либеральному князю Дадиани получить для Датико обещанный паспорт. От князя Дадиани надо пойти в духан «Тилипучури» и встретиться с писарем из жандармского управления, чтобы выяснить, удалось ли ему оттиснуть печать на заготовленных бланках, а завтра надо поехать в Манглис.

Впрочем, о завтрашнем дне он будет думать завтра. А пока-что надо подыскать три офицерских мундира, необходимых для поездки товарищей в Баку.

Он весь горел в этой работе и чувствовал себя спокойно и радостно.

Все двадцать четыре часа у Камо были расписаны до последней минуты. Из этих часов только ничтожная часть времени приходилась на отдых. Он научился не спать. Он говорил: «Сон — это такая же привычка, как табак. Если пересилить себя и постараться совершенно не спать целую неделю, можно забыть о сне. Человек способен не спать четыре месяца».

Он часто забывал об отдыхе, — так же, как забывал о том, что на свете некогда существовал Семен Тер-Петросян, из которого отец хотел сделать хорошего торговца, наследника своего дела. Было ли когда-нибудь такое время, когда он мог появляться на улице со своим собственным ли-

цом? Такого времени не было. Он не помнит такого времени. Он не помнит своего лица. Сегодня у него — жалкая бородавка нищего, завтра — нафабранные усы полицейского пристава, послезавтра — парик и ряса священника...

Теперь Камо не может сделать и пятисот шагов, чтобы не изменить своей внешности. В депо Камо приходит одетый молодым студентом-практикантом, блистая пуговицами и новенькой курткой; оттуда уходит угрюмым рабочим в синей засаленной блузе. Этого требует его профессия. Она вынуждает его приходить на почту почтальоном или продавцом газет, на базаре быть веселым, сыплющим направо и налево шутки и остроты кинто, а в духане «Тилипучури» — техником, который только что прибыл из дикой глуши и теперь дорвался до прелестей большого города.

Он убегал от личной, нормальной, человеческой жизни и рвался к новым действиям, к новым опасностям. Камо чувствовал наслаждение только тогда, когда шла борьба. Неважно, в чем она заключалась — в трагическом ли столкновении на Нахаловке или в комическом эпизоде с Шаншашвили.

Эта игра отучила его от сна, а если он спал, то сон его был тревожный и чуткий, как у зверя. Игра загоняла его от идущих по пятам сыщиков в церковь, превращала его в священника, то в нищего. Она бросала его на крыши идущих по-

ездов, вталкивала на буфера вагонов, вынуждала ночевать в лесу. Он никогда не жаловался на свою жизнь. Он был ею доволен.

Однажды ему пришла в голову странная мысль: ему захотелось стать просто Семеном Аршаковичем Тер-Петросяном — без переодеваний и гримов, без псевдонимов, не «Камо» — а таким, каким его хотел видеть отец.

Камо надел костюм, какой носят штатские, служилые люди. Долго всматривался в свое отражение в зеркале, из которого глядело на него осунувшееся, все в складках, лицо, освещенное грустными глазами. Выйти на улицу, просто *без всякой цели*, побродить, как бродят тысячи людей, забыть, что он *преступник*, и стать *просто* Семеном Тер-Петросяном, не имеющим за собой никакой вины.

Не сказав никому ни слова, он вышел. Прошел беспечной, покойной походкой по Михайловской улице. Спустился к Куре, остановился на мосту и несколько минут смотрел в мутные воды. Затем подошел к киоску, купил папирос, зашел в кафе, спокойно и не торопясь съел порцию мороженого, снова вышел, купил газету, пробежал ее глазами и опять, медленно всматриваясь в лица людей, пошел дальше. Он прошел мимо жандармского управления, потом вернулся и подошел к его подъезду. Двое великолепных, дышащих здоровьем и мускульной силой,

молодцов в форме охраняли подъезд. Камо подошел к ним, вынул пачку папирос, попросил у одного из них спичку, предложил папироску и хотел закурить. В эту минуту в подъезде хлопнула дверь и бравые красавцы вытянулись: на ступеньках появился начальник жандармского управления. Красавцы козырнули. Полковник быстро прошел мимо них, влез в поджидавшую карету и уехал. Закурив, Камо принялся расспрашивать, на какой улице помещается театр и, получив указание, пошел дальше.

Около театральной кассы он долго изучал цены, потом взял билет. Не спеша поднялся наверх и вошел в ложу. Занавес был еще опущен и зал утопал в море света. Камо всмотрелся в первые ряды. Вон сидит полицмейстер, через стул — жандармский полковник. Вон — ложа заместника и в ней правитель канцелярии, вероятно, с женой. Да, как будто ничего не произошло... Все в порядке. На мгновение дрогнуло у него где-то далеко в сердце чувство не то жалости, не то зависти, не то презрения к этим людям... но только на одно мгновение, и снова он ушел в созерцание своей игры.

Отсидев два акта в ложе, он в антракте вышел в фойе покурить. Люди ходили по коврам, заглушающим шаги, толкали его, извинялись, смеялись, болтали, делились впечатлениями о пьесе. Он тоже ходил, всматривался в лица и вдруг пой-

мал на себе пристально устремленный чей-то взгляд. Камо взгляделся. Он узнал начальника тифлисской тюрьмы, того самого, который принял его от казаков в день нахаловского побоища, а затем выпустил, когда он превратился в «Шаншиашвили». Несомненно, начальник тюрьмы узнал его, узнал и поблбднел, не зная, что ему делать.

Тогда Камо, широко улыбаясь, подошел к нему своей твердой, слегка ленивой походкой и радостно, будто встретил старинного приятеля, протянул ему руку.

— Здравствуйте, господин начальник... Рад вас видеть. Не ожидали встретить? Да не извольте сомневаться: это-с я, Камо.

Начальник тюрьмы машинально сунул ему руку, продолжая смотреть на него широко открытыми глазами.

Наконец он опомнился, быстро выдернул руку, почему-то поправил воротник и внезапно побавровел:

— Это вы?.. Вы? Как вы смели?..

И вдруг закричал тонким, пронзительным голосом, не зная, зачем он кричит все это:

— Вон отсюда! Вон! Вон! Иначе я вас немедленно арестую.

Камо спокойно поклонился, улыбнулся, подал руку, которую тот снова пожал, и медленно, тяжело ступая по ковру, пошел к выходу.

Только много минут спустя, сидя уже в ложе, начальник тюрьмы окончательно пришел в себя и никак не мог объяснить себе, почему он не арестовал «этого разбойника», и, главное, почему он два раза подал ему руку.

«Нет, нет, совершенно исключительный случай,— думал он, не будучи в состоянии успокоиться от охватившего его волнения и гнева:— какой нахал! а?»

Начальник тюрьмы решил никому не говорить об этой встрече («чего доброго, еще заподозрят в укрывательстве... вот okazия!»). И ему вдруг стало страшно и неловко — не заметил ли кто-нибудь этой нелепой встречи?

Впрочем, все обошлось благополучно. Он никому не сказал о Камо, хотя от впечатления, произведенного встречей, начальник тюрьмы не мог отделаться еще долгое время.



6
днажды канцелярия наместника е. и. в. на Кавказе была неожиданно обеспокоена уведомлением из Петербурга, что в Турции происходит таинственная закупка оружия, предназначенного революционерами для мятежных действий в Тифлисской губернии. Закупкой руководит агент кавказского социал-демократическо-

го союза Камо. Петербургская бумага требовала принятия соответствующих мер.

Соответствующие меры были приняты, но, как оказалось, напрасно.

Транспорту оружия, вызвавшему беспокойство русского правительства, не суждено было достигнуть русских берегов. Маленький старый пароход, приобретенный Камо в Болгарии, принявший оружие на борт, попал у румынских берегов в бурю и пошел ко дну. С большим трудом удалось местным рыбакам спасти погибавших и доставить их на берег.

Через две недели после этой катастрофы в маленьком домике на Нахаловке собрался комитет, заняв две комнаты с окнами, выходившими на пустырь.

Кроме членов комитета тут собрались почти все бывшие в Тифлисе члены боевой организации.

Эти спокойные, добродушные люди доставляли сысской полиции хлопот больше, чем тысячи уголовников. Это они таили в себе громы, эхо которых так часто отдавалось в Батуме, Кутаисе, Ахалцихе, Озургетах, Квирилах, приводя в движение стоячую воду страны. Это они устроили дерзкие экспроприации в Квирилах и Кутаисе. Это они зажгли пожар забастовок, волнений, восстаний в Дидубе, в Надзалдеви, Батуме, по всему Закавказью. Они подняли в 1905 году рабочих

Тифлиса и вывели их с красными знаменами и революционными песнями на улицы города.

Элисо, Котэ, Ваню, Бочуа, Датико, Аркадий, Феофил, Акакий, Элико — все были здесь, ожидая своего старого боевого товарища.

Ни один из них не знал, будет ли кто-нибудь из них жив завтра. Ни один из них не думал об этом.

Они сидели, стояли, ходили по комнате, веселые и довольные тем, что нашлась свободная минутка, когда можно поболтать о всяком вздоре и забыть о делах. Они были похожи скорее на веселых студентов, собравшихся на вечеринку, чем на людей, за плечами которых стоит смерть.

Камо еще не пришел. По-видимому, он где-то замешкался.

И вдруг дверь отворилась.

В нее просунулась корзина, наполненная персиками. Потом — весы. Под весами засуетились чувяки с закрученными кверху носками. Вслед за ними показались длинный нос, обвисшие усы, бегающие глаза. Рот человека обнажился до последних пределов и показал ослепительно белые зубы.

— Ай, персики! Кому надо персики! Подходи, бери, не стесняйся! Дешево продается, даром не дается, купится — полюбится. Ай, персики, персики...

Люди, собравшиеся в комнате, насторожились и сунули руки в карманы. Что надо этому кинто? Кто он?

А кинто уже влез со своей корзиной в комнату. Тогда Ваню подошел к нему и взял за плечо:

— Тебе что здесь надо? Кто ты такой?

И вдруг кинто захохотал, и все засмеялись: Камо... Как они его не узнали!

— Нет, брат, ты непревзойденный актер.

Отчет Камо был недолгий и ясный. Он рассказал, как добрались они до Константинополя, у кого и за какую цену было куплено оружие и приобретен пароход. Упомянул о буре, о гибели судна, о рыбаках, подобранных их у румынского берега. Сказал несколько слов об опасности, угрожавшей со стороны румынской полиции.

Камо отчитывался в каждой мелочи. Вот пятидесятикопеечный обед, вот стоимость железнодорожных билетов, проезд по морю, номер в гостинице, баня, бутылка вина, расходы на покупку оружия, взятка чиновникам из константинопольской таможни. Еще цифры — рубли, копейки, ушедшие на личные нужды...

Камо кончил. Нервным движением он достал портсигар, вынул папиросу и закурил.

Тогда выступил Сильвестр — лидер меньшевистской фракции. Он скользнул глазами по Ка-

мо, как будто прощупывая его, прищурился и поднял подбородок. Собрание насторожилось.

— Еще в Кутаисе, — сказал Сильвестр, — я и мои единомышленники отстаивали оправдавшуюся ныне точку зрения: квирильские тысячи не следовало поручать Камо. Дело не в копейках, в которых он дал нам отчет, а в погибших тысячах. Конечно, — поправился Сильвестр, — если бы Камо вообще не дал бы нам никакого отчета, то и тогда мы, не колеблясь, поверили бы ему. Но дело не в честности, а в его неумении быть настоящим коммерсантом. Эта вот честность, эта копейчатость, это стремление сделать все «подешевле да побольше» и привела к катастрофе с оружием. Он купил дрянной пароходишко. Почему дрянной? Потому что Камо — копейчник...

Тогда взял слово Котэ. Он говорил о слишком умной рассудительности Сильвестра. Это правда — пароход погиб. Но что же делать? Камо с удовольствием, конечно, купил бы океанский пароход или броненосец, если бы достопочтенный Сильвестр дал ему необходимые суммы... Пришлось экономить — лучше оружие, чем броненосец.

Собрание засмеялось. Сильвестр смущенно заморгал глазами. Он чувствовал, что собрание на стороне Камо.

Стоявший все время у стены Камо вышел на середину.

— Если группа Сильвестра жалеет погибших денег, мы возвратим их комитету вдвойне — пусть только комитет даст санкцию. Мы готовы удовлетворить Сильвестра.

Собрание насторожилось.

Снова выступил Сильвестр и сказал, что экспроприации, на которых помешана боевая группа, в том числе и Камо, могут в конце концов привести к очень нежелательным результатам, озлобить население и заставить народ смотреть на революционеров, как на бандитов. Когда Сильвестр окончил речь, поднялся шум. Председатель тщетно пытался призвать собрание к порядку.

Собрание стихло только тогда, когда выступил Камо.

— Может быть, вы прикажете идти на паперть с протянутой рукой и просить: «Подайте, Христа ради, копеечку бедным революционерам на революцию?» — почти прокричал он. — Может быть, вы организуете подписной лист и пойдете с ним по канцелярии заместника: «Нуждаемся, мол, господа... Революцию хотим делать, свергать власть, а денег нет... Пожертвуйте, ради бога, ваше сиятельство»... Нет, революция не просит: она требует! Она берет! Нам нужно печатать литературу, покупать оружие, нам необходимы деньги на поездки, нам надо оказывать помощь семьям арестованных товарищей. Этих денег нам не даст никто. Мы возьмем их сами — возьмем у самого

богатого купца... мы возьмем их у государственной власти, в казначействах, банках! Да, в банках!.. Я согласен, что экспроприация — дело грубое. Но других путей мы не видим. Укажите другие пути, более мирные, более, так сказать, гуманные — и мы немедленно откажемся от экспроприации. Таких путей нет. Правда, могут пострадать невинные люди — чиновники, охрана — но что ж делать? В бою приходится жертвовать всем. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы невинные не пострадали.

Председателю стоило огромных трудов успокоить собрание и добиться, наконец, поименного голосования: нужна или не нужна новая экспроприация? Большинство одобрило предложение Камо. Боевой группе, и в частности Камо, поручалось добыть деньги, необходимые для приобретения оружия.

В

1907 году царское правительство усиленно проникало в Персию. Оно стремилось парализовать на Востоке деятельность своего старого, заклятого врага — Англии. Цель борьбы с Англией заключалась в том, чтобы раз и навсегда покончить в Персии с английскими товарами — сахаром, мануфактурой — и двинуть в эту сторону товары российских фабрикантов.

Царское правительство опасалось противодействий из Лондона. Оно склонно было опасаться вооруженного конфликта и с этой целью слало войска к границам Персии.

В маленький пограничный с Персией городок Джульфу из Тифлиса шли обозы с провиантом, обмундированием, деньгами.

Спустя несколько дней после того, как общее собрание комитета поручило Камо добыть деньги, из Тифлиса в сторону Джульфы шел денежный транспорт.

Охраняемые казаками, два экипажа тронулись из Тифлиса в восемь часов утра, а в три часа дня управляющему конторой государственного банка было сообщено, что на этот транспорт произведено нападение. Один из казаков оказался тяжело раненным при взрыве бомбы, брошенной злоумышленниками. Остальные казаки невинны, и денежный ящик не пострадал. По нападавшим была открыта энергичная стрельба. Одного из них удалось, по-видимому, тяжело ранить. Однако группе удалось скрыться в лесу.

В тот день, когда тифлисская полиция была поставлена на ноги в связи с нападением на денежный транспорт, одна из тифлиских больниц пополнилась новым больным. Это был техник железнодорожных мастерских, некий Акакий Дадвадзе.

Дежурный врач, принявший и осмотревший его, нахмурился и покачал головой.

Медицинский осмотр дал следующие показания: у пострадавшего были разорваны мягкие части левой кисти и предплечья. Все тело было в сильных ожогах. Левый глаз представлял собой изуродованную кровавую впадину. Анализ желудка показал сильнейшее изъязвление его стенок, как следствие ожогов.

Больной нашел в себе достаточно силы, чтобы подробно рассказать врачу о куске раскаленного железа, который упал на него с испортившегося крана. Затем он просил врача не сообщать никому об этом происшествии, чтобы известие о его несчастье не могло дойти до матери. Изувеченный просил врача скорее делать свое дело и ни о чем его больше не спрашивать, так как говорить ему тяжело.

Врачу этот субъект показался странным. Раскаленным железом люди так не обжигаются. В данном случае — очень тяжелый ожог, но ожог этот вызван не раскаленным железом, а чем-то другим. Впрочем, какое дело врачу — где и как потерпел несчастье пациент?

К вечеру Акакию Дадвадзе стало хуже. Он впал в бред и всю ночь выкрикивал какие-то непонятные фразы, называл какие-то имена, отдавал таинственные приказания, изредка упоминая слово «бомбы». К утру он пришел в себя.

— Вы плохо сегодня вели себя, — сказал врач, — вы все искали какие-то бомбы, спасались от каких-то казаков. Знаете о вчерашнем происшествии под Тифлисом? Анархисты напали на денежный транспорт и едва не похитили полмиллиона рублей...

Акакий Дадвадзе молча взглянул на него и отвернулся. Какое ему дело до каких-то бомб, до какого-то ограбления и полумиллиона рублей? Ему очень больно и хочется скорее выздороветь.

К вечеру больному стало опять плохо. Он снова метался на койке, выкрикивая те же слова. Но врач уже не слушал их. Он щупал пульс. Сестра, сидевшая у изголовья больного, хлопотала со льдом. Началась кровавая рвота. Врач опасался, как бы к утру больной не умер.

Но утром опять пришло облегчение, а спустя неделю больной уже перестал бредить. Ему позволили сесть. Еще через десять дней он стал на ноги.

— Слушайте, у вас здоровье, как у Ильи Муромца, — говорил ему врач, довольный и самим собой и выздоравливающим, которого он считал почти безнадежным. — Другой на вашем месте давно бы уже путешествовал по звездам... М-да...

Через месяц и девять дней Акакий Дадвадзе почувствовал себя настолько хорошо, что попросил выписать его из больницы.

В день выписки Дадвадзе к нему явился какой-то человек, и они ушли.

Впоследствии оказалось, что больным был не кто иной, как Камо. При нападении на денежный транспорт, следовавший в Джульфу, он был тяжело ранен и обожжен неудачно брошенной бомбой. В тот же день товарищи доставили его в больницу под вымышленной фамилией Дадвадзе.

Экспроприация на джульфинский денежный транспорт явилась самым неудачным и трагическим предприятием за все время деятельности боевой группы. Надо было наверстывать упущенное время. Деньги комитета подходили к концу. Партийную кассу надо было пополнять. Но какими способами?

И вот снова перед боевой группой встал вопрос об экспроприации.

Во время болезни Камо группа уже сделала попытку экспроприровать кассу чиатурских марганцевых рудников. Предприятие потерпело неудачу. План нападения на экипаж, который вез деньги, не был осуществлен только потому, что крестьяне, взявшиеся довести членов группы до назначенного места, в последнюю минуту струсили. Пришлось вернуться назад.

Бомбы, приготовленные для чиатурского дела, лежали в бездействии. Через 48 часов они, изго-

товленные с таким трудом, отсыреют и придут в негодность.

На очередном совещании боевой группы особенно нервничал Акакий. Он негодовал на крестьян, струсивших под Чиатурами, и страдал за погибающие бомбы, как будто на его глазах утонул самый близкий человек, которого он не в состоянии спасти.

— С бомбами надо что-нибудь делать. Иначе через двое суток ими с успехом можно будет играть в кегли. Как глупо! О, эти добросовестные зайцы, ведущие по волчьим тропам. Сколько раз я говорил, что крестьяне—ненадежный народ, они подведут в самую последнюю минуту... Так и вышло,—горячился он.— Делать все надо самим, без помощи этих зайцев. Как прикажете теперь поступить с бомбами? Изготовить новые? Искать препараты? Опять на три месяца отсрочка? Снова нет денег, и все планы—к черту!..

В этот момент открылась дверь, и в комнату влетел человек в форме почтового чиновника. Это был Ваню. Еще с утра его послали на разведку в банк. Он снял фуражку, сел и обвел всех присутствующих таким торжествующим взглядом, будто выиграл сто тысяч.

— Живем, товарищи,—провозгласил он так, словно во всем мире началась революция.— За два в десять часов государственный банк получает по почте четверть миллиона рублей.

Горячая речь Акакия прекратилась. Теперь уже не надо опасаться, что бомбами придется играть в кегли.

Солнечным июньским утром кассир государственного банка Курдюмов со счетоводом Головной прибыли на почту получить 250 000 рублей, присланные из Петербурга. Почтовый чиновник, ведавший операциями по переводам, выдал деньги.

Курдюмов проверил великолепно упакованные пачки ассигнаций и бросил их в кожаный баул. Затем вместе со счетоводом вышел и сел в фаэтон. Пять казаков окружили его. Два стражника сидели на передней скамейке экипажа. Лошади тронулись по направлению к Эриванской площади.

В это время площадь жила своей обычной будничной жизнью. Толпы людей сновали по ней взад и вперед. Какая-то старуха катила коляску с ребенком. Небо было синее, спокойное. Среди толпы металась собака и тщательно обнюхивала ноги прохожих, очевидно потеряв хозяина. Продавец вишен нес на голове большую тяжелую, плетеную из камыша, корзину и громко кричал: «вишни! камо надо вишни! вишни!»... Молоденькая гимназистка подошла к нему. Продавец снял с головы корзину и поставил ее на землю. В ту же минуту к нему подошел пристав и приказал немедленно убираться. Молоденькая гимна-

зистка испуганно посмотрела на пристава. Продавец покорно поднял корзину на голову и удалился.

Тогда пристав подошел к старухе, катившей коляску, и также прогнал ее. Затем, заняв позицию посредине площади, принялся разгонять прохожих, стремясь, очевидно, освободить ее от людей. В его руках была нагайка, и он размахивал ею так решительно, что люди испуганно шарахались во все стороны.

Рыжие усы пристава топорщились. Его красное лицо казалось свирепым. Он беспрерывно повторял одну и ту же фразу:

— Гаспада, гаспада, обходите кругом. Через площадь проход закрыт. Гаспада... Гаспада... Проход закрыт...

Скоро Эриванская площадь превратилась в пустыню. Только один человек в фетровой шляпе и мягких кавказских сапогах еще оставался на ней. Он медленно расхаживал, углубившись в чтение широко развернутой газеты. Пристав не обращал на него никакого внимания.

Поднимая тучи дорожной пыли, вдали показался фаэтон. Двое казаков скакали перед ним, устремив вперед мутные от жары и напряжения глаза. Остальные трое скакали по сторонам и сзади. Оба стражника, сидевшие в фаэтоне, не спускали глаз с кожного баула.

Фаэтон въехал на площадь.

В тот момент навстречу экипажу ринулся высокий лохматый человек. Он широким, энергичным жестом поднял руку. Рука сжимала темный пакет. Стражники побледили и сделали попытку приподняться. Один из них успел крикнуть Курдюмову: «Господин кассир — бомбы!» Но было поздно. Лохматый человек метнул снаряд прямо под фаэтон. Площадь дрогнула от долгого воющего гула...

Стражников силой взрыва выбросило из фаэтона. В двадцати шагах от них казак старался высвободить ноги из-под тяжести навалившейся на него лошадиной туши. Взбешенные взрывом лошади понесли казаков во все стороны. Фаэтон оказался целым. С его козел снесло только кучера.

Не управляемые никем, испуганные внезапным гулом, лошади понесли фаэтон вперед.

Все произошло так неожиданно и стремительно, что Курдюмов не сообразил даже, что же, собственно, произошло. И только полминуты спустя после взрыва он понял: это нападение... Деньги. Где деньги? Он перевел глаза на то место, где лежал баул. Баул был цел. Около него сидел взлохмаченный, бледный, без шляпы, Головня и лепетал нечто бессвязное.

Курдюмов бросился на баул и сел на него, подскакивая от толчков быстро мчавшегося фаэтона. «Ну, слава богу, деньги целы», — подумал

он, уставившись на обезумевшего от страха Головню.

Эсpropriация, казалось, потерпела неудачу. Лошади уже проскочили площадь и неслись по Салаакской улице. Опасность как будто миновала. Курдюмов начал приходить в себя. «Слава богу, слава богу»,— шептали его дрожащие губы. Он думал, что опасность осталась уже далеко позади и деньги будут доставлены в банк. Он попытался подняться и сесть на сиденье рядом с Головной. Но в эту минуту на подножку экипажа вскочил неизвестный человек. Как утверждали впоследствии прохожие, это был тот самый человек в фетровой шляпе, который расхаживал с широко развернутой газетой.

Он ткнул Курдюмова в грудь кулаком и, схватившись за складки баула, потянул его. Курдюмов тоже схватился за баул и умоляюще взглянул на экспроприатора. Тогда неизвестный сильным толчком ноги выбросил Курдюмова из фазтона. Но тут Головня схватился обеими руками за баул... Безуспешная борьба с экспроприатором, длившаяся всего несколько мгновений, показалась счетоводу вечностью. Он боролся инстинктивно, вовсе не думая спасать деньги. Когда человек исчез вместе с баулом, у счетовода мелькнула радостная мысль: «Теперь не убьют»... По панели бежали испуганные и взволнованные прохожие. Они провожали глазами бешено катившийся фаз-

тон, в котором стоял обезумевший человек и вопил:

— Ограбили... Убили!.. Скрылись...

Расследование, произведенное в тот же день, установило, что экспроприация произведена боевой организацией революционного комитета. Человек, похитивший баул и бесследно скрывшийся с ним, оказался известным членом этой организации — Котэ. Следствие установило также, что Котэ и был тем самым человеком в фетровой шляпе, который расхаживал с развернутой газетой по Эриванской площади. Газета служила для всех остальных экспроприаторов сигналом к нападению.

Имена остальных боевиков, участвовавших в нападении, установить не удалось.

Лишь спустя много времени и по другому уже случаю жандармское управление выяснило еще одну деталь экспроприации: полицейский пристав, столь деятельно разгонявший толпу на площади, был не кто иной, как знаменитый Камо.



8

а этот раз был приведен в движение сыскной механизм не только Тифлиса, но и Закавказья. Власти решили во что бы то ни стало захватить экспроприаторов и раз навсегда

покончить с вечной опасностью, грозившей благополучию государственной казны.

Сыскное начальство особенно интересовалось Камо. Оно готово было пожертвовать еще одним денежным транспортом, только бы удалось схватить этого легендарного человека.

И его наконец обнаружили. Камо был арестован в Германии через несколько месяцев после события на Эриванской площади. Берлинская полиция оказалась искуснее тифлисской.

В августе 1907 года в Берлине, на Эльзассерштрассе был задержан агент некоего страхового общества Мирский.

Несмотря на тщательно произведенный обыск и еще более тщательный допрос германская полиция так и не добилась ответа на интересовавший ее вопрос — какие причины заставили прибыть в Берлин агента Мирского и почему в его чемодане оказалось двойное дно, в котором хранились взрывчатые вещества. На эти вопросы следователь, допросивший Мирского в старой берлинской тюрьме Альт Моабит, куда был доставлен арестованный, ответа не получил. Однако он установил следующее: задержанный не имел ничего общего со страховым обществом, а являлся «русским анархистом»* Семеном Ар-

* В те времена германские власти, как и русские слово „анархист“ применяли ко всем революционерам, независимо от того, к какой партии они принадлежали.

шаковичем Тер-Петросяном, по кличке — Камо.

Старший следователь Моабита вызвал его на допрос:

— Назовите свою фамилию, имя, отчество, место постоянного жительства.

Камо закурил папироску, посмотрел пристально на следователя и усмехнулся.

— Вы знаете, что преступления, совершенные вами, караются смертной казнью?

Камо опять усмехнулся.

— К какой национальности вы принадлежите?

— По рождению я — армянин, но одновременно являюсь русским, грузином, немцем, французом, англичанином, малайцем, негром... Во мне — все нации мира.

Такой ответ озадачил серьезного, привыкшего к точным формулировкам, следователя и заставил его подумать, не является ли арестованный просто ненормальным человеком.

На всякий случай он распорядился отвести для него специальную камеру.

Однажды утром один из надзирателей, взглянув через окошечко в камеру «русского анархиста», заметил, что арестованный стоит у стены и, глядя безучастно в пол, ловит над головой не то мух, не то моль, которых, по мнению надзирателя, в камере не было. Это занятие арестанта смутило надзирателя.

Минут через пять он снова взглянул в окошечко и увидел, что арестант, устремив глаза к двери, пытается подпереть спиной стену. Для чего ему понадобилось подпирать стену? Странно...

Надзиратель покачал головой и вошел в камеру. Арестант повернулся к нему спиной, провёл по своим волосам пальцами, потом медленно и равнодушно накрутил на палец клок волос и вырвал его из головы.

— Шреклик!— в испуге пробормотал надзиратель.— Он сошел с ума!

Начальник тюрьмы сообщил следователю о поведении заключенного. Следователь, выслушав соображения надзирателя и начальника тюрьмы, кивнул головой с таким видом, будто у него и до этого разговора не было никаких сомнений.

— Так и должно было быть,— сказал он.— Один человек не может быть в одно и то же время и армянином, и грузином, и русским, и немцем, и французом, и негром. Не может. Он помешался!

Старший прокурор королевского ландгерихта был обеспокоен состоянием здоровья важного преступника, из-за которого могла возникнуть неприятная дипломатическая переписка. По тайному соглашению германского правительства с русским оба правительства обязывались друг пе-

ред другом выдавать «анархистов». Следователь потребовал в Моабит врачей-специалистов. Он был смущен осложняющейся обстановкой следствия и хотел скорее покончить с этим арестантом. Ему важно было выяснить, действительно ли болен арестант и если болен, то как долго будет продолжаться эта болезнь?

Врачебное наблюдение подтвердило соображения следователя.

Через два месяца после того, как арестованный был заключен в камеру, врач сделал в «скорбном листке» отметку: «Буйствовал. Стоит в углу. Не отвечает».

Еще через три дня «скорбный листок» пополнен был новой заметкой: «Разделся. Не отвечает ни на один вопрос. Вздыхает и стонет. Отказался от приема пищи».

Каждые три дня прокурор получал такие сводки.

«Нет, это симуляция, несомненно симуляция,— думал прокурор.— Ему угрожает смертная казнь. Ясно: он решил «сойти с ума», чтобы избежать казни».

Когда прокурору сообщили о том, что Тер-Петросян, которого уже перевели в гербергскую лечебницу, избил надзирателей, сбросил на пол посуду и начал буйствовать, прокурор счел нужным посоветовать директору лечебницы испытать на преступнике действие холодной камеры.

Директор лечебницы не нашел никакого противоречия между установленными наукой правилами и предложением прокурора, и распорядился посадить Тер-Петросяна на семь дней в подвал, где поддерживалась температура ниже нуля. В белье и босой он был отведен в подвал и там оставлен.

Но арестант как будто не чувствовал холода. Он целыми часами стоял у стены, неподвижный, как каменная статуя.

Директор больницы не мог допустить, чтобы нормальный человек, имея на себе только нижнее белье, мог относиться к холоду с таким равнодушием. Арестант действительно помешанный.

Это мнение подтвердилось новыми, необычными для нормального человека, действиями арестанта, который после семидневной отсидки в подвале был переведен в свою прежнюю камеру.

Во-первых, он решительно отказался от пищи, и его стали кормить насильственным способом. Во-вторых, он в течение двух недель совсем не ложился спать. Все время он проводил на ногах, лишь изредка начиная прыгать и бегать по камере, как зверь, заключенный в клетку. В-третьих, однажды вечером его нашли висевшим в петле со слабыми признаками жизни. А спустя пять дней арестованный перерезал себе вену костью, выловленной из супа.

«Да,— думал директор.— Это невероятно. Это изумительно!»

И ему стало жалко несчастного арестанта. Он вдруг вознегодовал на прокурора. Сомнений нет. Дальнейшие испытания бесцельны. Впрочем, если господин прокурор сомневается, он может направить больного в специальную клинику и отдать его под наблюдение знаменитых ученых.

Как ни убедительно было мнение директора лечебницы, однако прокурор все-таки не согласился с ним и отдал распоряжение перевести преступника в бухскую клинику под наблюдение опытных психиатров.

Испытуемый был доставлен в Бух. Врач, осматривавший Камо, обратил внимание на его лицо, которое показалось ему таким спокойным и равнодушным, будто все испытания — голод, холод и попытки к самоубийству — существовали только в воображении прокурора.

«Странно, после таких мучений — такое лицо», — подумал врач.

— Сядьте, больной, — ласково сказал он, всматриваясь в глаза арестанта.

Тот заложил руки в карманы и принялся ходить по комнате.

— Сядьте, больной, — повторил врач.

Испытуемый сел и уставился в пол. Лицо его стало печальным.

— Как вас зовут?

— Меня зовут Семен Аршакович Тер-Петросян. Слово «Тер» означает происхождение из духовного звания.

— Это хорошо. Это очень хорошо. Какого вы исповедания?

— Я армянин. Наша религия лишь немногим отличается от православной.

— Были в вашей семье случаи душевной болезни?

Больной вдруг заволновался, будто почувствовал острую ноющую боль.

— Когда я был ребенком,— сказал он,— я был горячим патриотом. Это могут засвидетельствовать мой отец и покойная мать. Одна тетка, сестра матери, была очень нервная. Я боялся ее.

— Чем вы болели в детстве?

— Ребенком я охотно пил уксус и сильно кашлял.

— Назовите мне сибирскую реку, текущую к северу.

— Амур, Тобольск... впрочем, я все перезабыл. Раньше я мог показывать по карте с закрытыми глазами.

— Сколько в России губерний?

Больной молчал.

— Назовите город на Волге.

— Астрахань и Стенька Разин. Разве вы не читали Некрасова?

— Сколько жителей в России?

— Два миллиона.— Врач заметил, как больной лукаво улыбнулся, а потом с шутливой снисходительностью поправился:— Я вру,— двести миллионов.

— Что вы знаете о Екатерине Великой?

Больной удивленно взглянул на врача и прерительно бросил:

— Об этом чудовище я не желаю говорить. Но русский народ еще доберется до нее...

— Что вам известно о Петре Великом?

— Он был русским царем.

— Ходили вы раньше в церковь?

— Нет, я не признаю полицейского бога. Моей религией является социалистическое государство. Я верую в Карла Маркса, Энгельса и Лассалья.

— Странно...

— Что странно?

Врач ему не ответил и позвонил санитарам. Больного отвели в палату, поместив вместе с другими умалишенными.

На седьмые сутки заключения в Бухе врачебный персонал клиники констатировал у Тер-Петросяна и признал умопомешательство анестетической формы, той формы душевного расстройства, когда человек теряет всякую чувствительность к боли.

Врачи решили применить к нему единственно оставшееся испытание.

Его привели в кабинет главного врача, раздели и поставили посреди комнаты. Он стоял спокойный и равнодушный ко всему, что над ним проделывалось.

Казалось, он никого не замечал, будто находился вне жизни. Ему приказали вытянуть руки. Он, словно сквозь сон, подчинился этому требованию.

Тогда врач взял со стола иглу и вонзил ее под ноготь больному.

Тот стоял по-прежнему неподвижный и равнодушный. Врач воткнул иголку в другой, третий, четвертый палец. Проделал то же самое на ноге. Больной будто не видел, не замечал ничего. Только по лбу у него катились крупные, торопливые капли пота.

Другой врач в это время внимательно наблюдал за зрачками испытуемого. Наукой установлено, что встречаются люди, обладающие огромной силой воли и способные колоссальным напряжением ее подавить в себе всякие внешние признаки переносимой боли, как бы велика и чудовищна эта боль ни была. И чтобы точно установить — чувствует ли человек боль или нет, нужно наблюдать за его зрачками. Если они остаются в нормальном состоянии — значит, болевого ощущения действительно нет. Если же человек

скрывает переносимую боль, то зрачки у него расширяются.

И вот врач заметил, что зрачки у испытуемого расширились.

Реакция — налицо.

«Боже мой,— подумал врач, отворачиваясь от испытуемого.— Если этот человек действительно нормальный и действительно ощущает боль, то разве возможна такая чудовищная стойкость, такое хладнокровие?»

Опыт с иглами кончился. Врачи были в недоумении. Тогда было применено раскаленное докрасна железо. Снова главный врач уставился на зрачки, а другой приложил к оголенному бедру испытуемого железо. Запахло паленым мясом.

Опять зрачки расширились, но лицо оставалось спокойным.

— Бросьте, довольно, не надо,— приказал главный врач, смущенно отходя от больного и тяжело опускаясь в кресло...— Зрачки... Но это спокойствие, это равнодушие... Невероятно!.. Что обманывает — зрачки или лицо? Кто из них прав? Он или наука? Боже мой, такого случая еще не было никогда. Разве может нормальный человек вынести *такую* боль, не дрогнув ни одним мускулом?

Впервые за всю свою многолетнюю практику главный врач Буха усомнился в правильности

научных данных. Зрачки и лицо. Что же это такое? Значит, наука ошибается?

Лицо нормального человека *так* не может играть!

Прокурор получил из министерства внутренних дел уведомление о том, что русское правительство просит выдать важного политического преступника Камо, ссылаясь на необычайную тяжесть совершенных им на территории Российской империи преступлений.

Министерство внутренних дел Германии уведомляло прокурора, что оно дало согласие на выдачу вышеупомянутого Тер-Петросяна и поэтому директор клиники должен сообщить свое окончательное мнение о состоянии здоровья этого лица.

Как раз в этот день прокурор получил из клиники очередную сводку врачебного наблюдения. Сводка гласила: «Испытуемый жалуется на головную боль. Вырвал у себя часть усов, желая послать на память товарищам. Часто плачет, ругает берлинскую полицию на русском и немецком языках. Говорит, что его истязают испанские инквизиторы».

Еще через день прокурор получил от директора клиники следующее уведомление:

«После продолжительного, почти двухнедельного наблюдения врачебным персоналом тюрем-

ной больницы Моабит, больницы в Герцберге, а также клиники в Бухе установлено: 1) Тер-Петросян представляет собой человека с недостаточными умственными способностями, с истерико-неврастенической организацией, могущей перейти в состояние явного помешательства. 2) О преднамеренной симуляции не может быть и речи. 3) Тер-Петросян в настоящее время не способен к участию в судебном разбирательстве и не будет к этому способен. 4) Тер-Петросян в настоящее время не способен отбывать наказание и не будет способен в будущем».

Прокурор прочитал заключение, подумал и вызвал чиновника.

В тот же день министерство внутренних дел Германии было уведомлено, что прокуратура не встречает препятствий против передачи Тер-Петросяна русскому правительству.

21 сентября 1909 года под охраной немецких полицейских Камо был доставлен на пограничную станцию Вешен-Стрелково. Здесь его передали русским.

Немецкие социал-демократические газеты прицелились на германское правительство, которое испугалось русских жандармов и выдало им русского революционера, доведенного в германских лечебницах до сумасшествия. Газеты обвиняли правительство в отсутствии чувства человеколюбия и гуманности, утверждая, что Тер-Петросян

будет казнен русским правительством. И в этом будет повинен министр внутренних дел, выдавший Тер-Петросяна.

Словом, Берлин был взбудоражен и смущен.

Тем временем Камо, закованный в кандалы, был доставлен под усиленным конвоем в Метехский замок и сдан под расписку начальнику тюрьмы.

В тот же день, по распоряжению главнокомандующего Кавказским военным округом, Камо был предан военно-окружному суду, который должен был его судить по законам военного времени, хотя в 1909 году Российская империя ни с кем войны: не вела: «военное время» было прилумано специально для того, чтобы незаконные сделать законом.

— Наконец это чудовище в Метехском замке,— уведомил прокурора военно-окружного суда начальник жандармского управления.

Камо так и называли — «чудовище».

Следственно-судебная машина — тяжелая, неповоротливая во все времена — внезапно проявила удивительную подвижность. В Метех и обратно летели следователи, протоколы, телефонограммы, пока наконец не выяснилось одно неприятное обстоятельство, которое в первые дни не интересовало и не смущало никого: человек, заранее приговоренный к веревке, был, по-видимому, помешан. Вслед за этой неожидан-

ностью для тифлиских властей последовала другая, еще более неприятная, чем первая.

В мае месяце министр внутренних дел писал наместнику на Кавказе:

М., г., граф Илларион Иванович! Министерство иностранных дел письмом от 27 апреля с. г. за № 42 сообщило мне, что за последние дни немецкая печать с особой страстностью обсуждает судьбу русского подданного Аршакова (он же Мирский и Тер-Петросян), привлеченного к ответственности в городе Тифлисе по делу о разбойном нападении на казенный денежный транспорт в 1907 году. Радикальные органы „Форвертс“ и „Франкфуртер Цейтунг“ нападают при этом на немецкую полицию, выславшую Аршакова-Мирского в Россию, где он был передан русским властям. Нападки прессы на германское правительство не преминут усилиться, если Мирский будет приговорен к смертной казни. Министерство внутренних дел опасается, что это обстоятельство может оказать неблагоприятное для русских интересов влияние в вопросе о высылке русских анархистов.

Пользуюсь случаем выразить вашему сиятельству уверение в совершенном моем почтении и истинной преданности.

П. СТОЛЫПИН.

Наместник на Кавказе граф Воронцов-Дашков ответил Столыпину: «Что касается опасения м-ва ин. д., что неминуемые, в случае осуждения Тер-Петросяна к смертной казни, нападки немецкой прессы на германское правительство могут оказать неблагоприятное для русских интересов

влияние в вопросе о высылке анархистов, то соображение это мною будет принято во внимание при представлении на мою конфирмацию приговора военного суда о Тер-Петросяне».

В Метехском замке Камо оставался таким же, каким увезли его из Берлина. Он был то мрачным и неразговорчивым, то беспричинно смеялся, то удивлял служебный персонал своим спокойствием и неподвижностью, то внезапно начинал буйствовать. Пищи он не принимал и не замечал никого. Иногда им овладевал приступ бреда. Он кричал и ругался — ругался по-немецки, — очевидно уверенный, что находится еще в Моабите.

Для властей не оставалось никакого сомнения в том, что Камо — сумасшедший.

И тем не менее суд состоялся.

Когда в зал суда ввели подсудимого, председатель, взглянув на него, заинтересовался маленюшкой подробностью: у Камо на плече сидела птичка. Подсудимый косился на щегла и, улыбаясь ему, пытался прикоснуться щекой к птичьим перьям. Щегол, едва удерживая равновесие, с любопытством смотрел на необычайную для него обстановку.

— Петька, не дрейфь, — громко сказал щеглу подсудимый.

Молодой капитан генерального штаба — член

суда, взглянул на щегла, улыбнулся, но, заметив строгие глаза генерала-председателя, смутился и покраснел.

— Подсудимый, подойдите ближе, — обратился генерал к Камо, который в это время весело разговаривал со щеглом.

— Петька, покажи им, как мы умеем летать, — сказал Камо и погладил птицу по головке. Щегол клюнул его в щеку, вспорхнул, поднялся к самому потолку, скользнул крыльями по штукатурке, описал круг по залу и уселся на вытянутой руке Камо.

— Правильно, браво, Петька, мой верный товарищ, садись сюда. — И он указал на свое плечо.

Птица села на плечо Камо и снова клюнула его в щеку.

— Подсудимый, где вы достали эту птицу? — строго, как долженствует председателю военное окружного суда, спросил генерал.

— В небе. Он летел и я летел. Мы встретились. А впрочем, моя птичка лучше вас всех. Правильно, Петька?

Петька опять клюнул его в щеку.

Так окончился допрос Камо, допрос, приведший судей к полному разочарованию и досаде. Кроме бессмысленного бреда суд не добился от подсудимого ничего. Камо был всецело поглощен щеглом и будто не слышал вопросов и не замечал судей.

Суд пришел к заключению, что в такой обстановке следствие невозможно, и потому решение суда гласило: дело слушанием отложить, а подсудимого подвергнуть *длительному* наблюдению в психиатрической лечебнице.

В

Тем временем германская пресса, наверное, забудет о Камо, и казнь его уже не отразится на «русских интересах».

9

Михайловской больнице, куда попал Камо из Метехского замка, были приняты все меры, чтобы предупредить всякую возможность побега арестанта. Он был водворен в изолятор для буйнопомешанных. Кандалы сняты не были. Ключ от изоляционной комнаты хранился у специально приставленного надзирателя, без разрешения которого никто не имел права входить и выходить из помещения.

Ноги Камо были стерты до крови. Администрация лечебницы обратилась к прокурору с просьбой снять кандалы. На ходатайство последовал ответ: кандалы сняты не будут.

В протоколе судебно-медицинского освидетельствования, представленном прокурору, были описаны рубцы, шрамы, повреждения левого глаза и резкое понижение кожной чувствительности, усиление кожных и сухожильных рефлексов,

дрожь в языке и руках. Испытуемый, как гласил протокол, не ощущает никакой боли.

Наблюдение над испытуемым продолжалось. Служебный персонал больницы убеждался в том, что перед ним несомненно безнадежный душевнобольной.

24 декабря 1910 года испытуемый, как гласил «скорбный листок», весь день бродил по камере, напевал, насвистывал. Ничем иным не интересовался. Набивал папиросы и беспрестанно вспоминал щегла, которого отобрали у него тотчас же после суда. Книга о войне, принесенная ординатором по просьбе испытуемого, осталась лежать неоткрытой. Больной говорил о каких-то четырех миллионах, зарытых им в горах. Но место указать отказался. Ночью не засыпал, бормotal, ворочался с боку на бок.

Через две недели после этой записи врач выслушал заявление больного. С таинственным видом тот сообщил ему:

— Ко мне в камеру заглядывают какие-то молодые люди, мужчины и женщины. Они тревожат меня... нарушают покой... Уберите их... Если врачи не примут меры, я сам расправлюсь с ними...

Сомнений никаких не было: больной бредил.

В этот день настроение его было то веселое, то подавленное. Воспоминание о щегле больше не волновало его. Он, кажется, забыл о нем и

перенес свое внимание на кандалы. Всю ночь он звенел ими в такт своему пению.

Так текла жизнь Камо в Михайловской лечебнице. Иногда он лепил из мякиша лошадок и птичек, курил, стонал, иногда был весел и словоохотлив. Говорил врачам, будто собирается ехать через Сибирь в Америку, и однажды утром объявил, что он ясно слышит чей-то голос... женский голос, произносящий его имя.

15 августа 1911 года, в полдень, испытуемый Тер-Петросян попросился, как обычно, в уборную. Служитель выпустил его из камеры, проводил до уборной и вернулся к другому беспокойному больному.

В течение целого часа уборная была заперта изнутри. Камо из нее не выходил...

Четыре года прошло с тех пор, как Котэ, тот самый человек в фетровой шляпе, что в 1907 году ходил с развернутой газетой по Эриванской площади, расстался с Камо.

Четыре года... Это все равно, что четыре столетия. И вот сейчас, через несколько минут они должны встретиться после долгой тревожной разлуки. За это время черные волосы Котэ успели поседеть.

Стоя на берегу Куры, он не спускал глаз с последнего окна верхнего этажа лечебницы. Там, за решеткой, мелькнул человек. «Он или нет?»

Котэ верил в Камо больше, чем в кого бы то ни было на свете. Городовой ушел за угол. Видит ли Камо из окна уборной городского? Успеет ли спуститься?

Скрывшись за кустами, Котэ принялся наблюдать. «Скорей бы, скорей, пока нет городского... И чего он так возится!»... Прошло мгновение, долгое, мучительное. Но вот решетка отскочила. Камо выглянул из окна. Котэ сделал нетерпеливый знак рукой. Камо привязал к зубьям спленной решетки веревку. И в этот момент Котэ снова сделал знак. Камо исчез. Из-за угла возвращался городской. Заложив руки, прищурясь на солнце, он важно, медленно, беспечно проплыл под окном. С минуту постоял, тяжело повернулся и поплыл назад. В окне опять мелькнула голова Камо. Котэ махнул белым платком — это означало, что опасности нет. Тогда из окна спустился вниз конец веревки. Радость охватила Котэ. Через минуту Камо будет на свободе. Так просто, так невероятно. После четырех лет скитаний по германским и тифлисским тюрьмам.

Камо спускался по веревке... все ниже и ниже...

Радость помutila сознание Котэ. Он на один момент закрыл глаза и когда открыл их — Камо уже не было на веревке.

Близость земли, близость свободы заставили Камо забыть об опасности и осторожности: с вы-

соты двух саженей он прыгнул вниз. Камо сильно ушиб ногу и теперь не мог подняться. «Что ты наделал? Не утерпел... как мальчишка...» — подумал Котэ и сделал движение броситься на помощь товарищу, но в то же мгновение Камо поднялся и бросился к кустам. И едва только кусты скрыли его, как из-за угла вышел все тот же медленно прогуливающийся городской. Заметив веревку, он подбежал к ней, потрогал, посмотрел на окно и, всплеснув руками, бросился бежать к больничным воротам, неистово свистя.

— Свисти, свисти, идиот,— улыбнулся Котэ, увлекая за собой Камо.

В тот же день Тифлис был оцеплен со всех сторон. Были вызваны собаки, но они шли по следу вяло и неуверенно и никого не нашли. На улицах, мостах, вокзалах и на трех шоссе, ведущих из Тифлиса, были поставлены сильные наряды наружного наблюдения. Наблюдатели были ознакомлены с приметами бежавшего. Однако наблюдение не дало никаких результатов.

И лишь спустя более года имя Камо было снова произнесено в жандармском управлении.

На Коджорском шоссе произошло трагическое событие, которое потрясло весь город: несколько экспроприаторов напали на почтовый транспорт, везший в Тифлис большую партию денег. Экспроприаторы бросили в транспорт бом-

бы. Этими бомбами были убиты три стражника и ящик. Ранены один стражник и почтальон. Благодаря отваге раненого стражника, открывшего огонь по нападающим, и близости города, грабители скрылись, не успев похитить деньги.

Меры, принятые полицией к раскрытию преступления, оказались безуспешными.

Следствию удалось только установить точные приметы нападавших, благодаря чему было точно выяснено, что среди экспроприаторов находился Камо.

5 января 1913 года сыскная полиция получила сведения, что боевая группа революционеров готовится к нападению на почтово-телеграфную контору. Полиция имела задание предупредить нападение.

Она решила теперь во что бы то ни стало схватить Камо.

И 10 января около «Северных номеров» полицейские агенты задержали двух подозрительных людей.

Когда их привели в участок, один из задержанных назвался болгарским подданным Николаем Трайчевым, другой — дворянином Кутаиской губернии Михаилом Жгенти. Но тут же установлено было, что первый являлся не кем иным, как Камо, второй — Григорием Матиашвили, членом боевой революционной группы.

Они были заключены в Метехский замок.

По распоряжению прокурора тифлиского военно-окружного суда, Камо вновь был переосвидетельствован. Врачебный осмотр показал, что у Камо отсутствуют всякие признаки душевного расстройства. Экспертиза установила также и то обстоятельство, что четырехлетнее сумасшествие Камо являлось не чем иным, как симуляцией.



10

Камо... Камо,— думал прокурор, шагая в темном коридоре Метеха,— вот когда я его увижу наконец. Интересно... интересно... С тех пор прошло почти десять лет, когда он перед самым моим носом бежал из батумской тюрьмы.

Это был тот самый прокурор, который в 1904 году, после неудачной поездки в Батум, возвращался обратно в Тифлис в одном купе с князем Девдариани, оставившим ему карточку со странной надписью на грузинском языке.

«Интересно, интересно взглянуть на него теперь»,— думал прокурор.

Смотритель тюрьмы открыл камеру. Железная дверь скрипнула и медленно открылась, как открываются двери несгораемых шкафов. Прокурор вошел в камеру.

Гладко выбритое лицо, свежее и здоровое,

какое только может быть у человека, вполне довольного своей жизнью, улыбнулось прокурору. Оно было добродушно и приветливо.

— Здравствуйте, господин прокурор, давно мы с вами не виделись...

— Да,— улыбнулся тот,— десять лет.

— Помните, я говорил вам, что мы с вами еще *встретимся*. Как видите, обещание свое я выполняю.

— Да.. Однако у вас такой вид, будто вы собираетесь играть на сцене.

— Что ж, привычка. Что дано природой, того люди не отнимут.

Прокурор опустился на скамью и взглянул в лицо Камо. «И чего это он так радуется? смерти?..»

— Если бы я падал духом, господин прокурор, на моей могиле давно уже должна была бы вырасти трава в десять аршин. А я, как видите, еще имею возможность следить за своим туалетом.

Наступило недолгое молчание.

— Слушайте, удивительный человек,— заговорил вдруг прокурор,— что заставляет вас делать все это — бомбы бросать и вообще черт знает что?

— Простите, господин прокурор, но я не спрашиваю вас, что заставляет вас требовать для людей смертной казни?

— Гм... Вы — чудаки.
— Таким рожден. Рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Вы знаете, что вам угрожает?

— Еще был

— И вы не раскаиваетесь в своих преступлениях?

— Ни на одну минуту. Мне просто забавно это ожидание. Один раз я раскаивался как будто. Это было в Нахаловке, во время восстания, когда меня повели казаки и когда один из них предложил отрубить мне нос. Я заплакал тогда самым искренним образом — не потому, что мне стало жалко своего носа, а потому, что его отсутствие явилось бы неизгладимой приметой, которая угрожала сделать мою работу невозможной.

— Вы действительно ужасный человек.

— Что ж, — вздохнул Камо, — это моя слабость.

В голове прокурора как-то не укладывалось, что этот человек, с такой приятной, почти женственной улыбкой, с *таким* лицом, мог пройти столь страшный путь...

Дело слушалось при закрытых дверях. Суд состоял из председателя суда — старого генерала, двух подполковников — членов суда, прокурора, защитника и секретаря.

Одиннадцать солдат, окружив скованного по рукам и ногам Камо, с шашками наголо, ввели его в зал. Взглянув на угрюмое лицо прокурора, подсудимый дружески поклонился ему. Прокурор сумрачно отвернулся.

Допрос был короток и ясен, как и последовавшая за допросом речь прокурора.

Во время его речи подсудимый, очевидно не слушая ее, вынул носовой платок, вытер им лицо и, взглянув на кандалы, принялся вызванивать ими какой-то мотив. Только после того, как председатель суда сделал ему замечание, он как школьник оставил кандалы в покое.

Речь защитника была беспомощной и неубедительной, несмотря на все его старание. Чувствуя, что сила фактов могущественнее его доводов, он попросил у суда только одного — «снисхождения и милости».

Подсудимому предоставлено было последнее слово. Его речь длилась недолго. Он сказал:

— Я не раскаиваюсь ни в чем. Обвинительный акт точно инкриминирует мои деяния, которые я совершил. Подтверждаю их полностью. От *вас* я не жду ни пощады, ни снисхождения. Я буду повешен — факт бесспорный. Сегодня господами положения являетесь *вы*. Завтра же будем — *мы*. И тогда мы беспристрастно выясним и уточним, кто из нас преступники — *вы* или *мы*. Единственное, о чем я сожалею и что вызы-

ваёт во мне чувство жалости и собственной вины, это невинно убитые люди на Коджорском шоссе. Мне больно вспоминать об этих жертвах, которые мы вынуждены были принести на благо освобождения народа. Вот все, что я могу сказать».

Суд отправился на совещание и скоро возвратился назад. Его приговор находил Камо виновным в вооруженном восстании в 1905 году, в экспроприации на Эриванской площади, в побеге из Михайловской лечебницы и в попытке разбойного нападения на казенный денежный транспорт на Коджорском шоссе. За каждое из перечисленных деяний закон предусматривал смертную казнь.

Приговор должен быть приведен в исполнение не позднее месячного срока.

Камо опять препроводили в Метехский замок и поместили в камеру для смертников.

Начальник Метехского замка был поражен. Ни один смертник никогда не вел себя так, как ведет этот человек.

Камо великолепно спал. Так спят лишь люди, успешно справившиеся с важной и большой работой, счастливые, спокойные, не тревожимые никакими заботами. Каждое утро он делал гимнастику. Потом набивал папиросы, читал книги, делился с надзирателем впечатлениями о прочитанном, шутил, смеялся и даже начал полнеть.

Цвет лица его стал здоровым и свежим. Он тщательно следил за своим туалетом.

Во всем замке не было человека веселее и жизнерадостнее Камо. Именно это поведение приговоренного к повешению повергло зрителя в панику и смущение. Уж не сходит ли этот Камо с ума, на этот раз по-настоящему?

Но врач не нашел у Камо признаков психического расстройства.

И когда зритель сообщил все это прокурору, явившемуся в замок на свидание со смертником, прокурор ничего не сказал. Он не удивился. Было такое впечатление, будто он ничего другого и не ожидал от Камо.

Прокурор прошел по коридору и остановился у дверей камеры. Надзиратель звякнул ключами и открыл скрипящую дверь.

Камо в это время сидел за столом, углубившись в газету.

Услышав позади себя шаги, он обернулся.

— Рад увидеть вас, господин прокурор.

— Может быть, вы, заключенный, имеете какие-либо претензии или просьбы?

— Нет, тут великолепно. Я только теперь в первый раз за всю свою жизнь понял, как тут тихо и удобно, понял и... оценил покой. Все, что полагается для осужденного к смертной казни, все это здесь имеется. Люди вежливые, обходительные, предупредительные. Голодом не мо-

рят и — даже наоборот — боятся, чтобы заключенные не голодали, даже... добровольно. Лично же я голодать не собираюсь, господин прокурор, ибо только теперь я понял прелесть аппетита.

— Может быть, вы хотели бы сделать какие-либо заявления... Ну, там — насчет завещания, писем... Пожалуйста, делайте.

— У меня есть только одно заявление, — вдруг решительно сказал Камо, — после того, как я буду повешен, пусть русское правительство отменит смертную казнь.

Прокурор изумленно поднял на него глаза.

— Нет, нет, — продолжал Камо засмеявшись, — я, конечно, шучу. — Он промолчал и добавил. — Право, прокурор, у меня нет никаких заявлений.

Установилась неловкая пауза. Потом Камо спростил:

— Вы пришли объявить мне, что сегодня я отправляюсь в бессрочный отпуск?

— Нет, совсем не то, — устало ответил прокурор.

— Гм... А что же?

— Видите ли, — пытаюсь оживиться, продолжал прокурор, — у меня сейчас возникла полезная для вас мысль. Приближается трехсотлетняя годовщина существования царствующего дома... Еще полмесяца... Мы уже получили проект закона об амнистии. Я, видите ли, не верю в вашу неискренность. Дадут вам лет двадцать. Отбудете вы

наказание где-нибудь в каторжной тюрьме, а потом... кто знает, может быть, вы и поймете всю прелесть мирной жизни... начнете все по-новому.

Изумленный и смущенный Камо уставился на него. Улыбка, веселость, подвижность — все исчезло. Он медленно отошел к столу, тяжело опустился на табурет и уставился в пол.

— Я этого не ожидал... не ожидал, — пробормотал он глухо.

Прокурор еще раз взглянул на него и молча вышел из камеры.

Месячный срок, установленный законом для представления смертного приговора на конфирмацию главнокомандующего Кавказским военным округом, близился к концу. Но приговор продолжал лежать в портфеле прокурора без движения. Прокурор находился перед возможностью нарушения закона. И тем не менее он все-таки медлил с его отсылкой.

Тяжкую ношу бумажки, таившей в себе судьбу человека, он чувствовал всегда и везде, будь то ложа театра, кафедра судебного зала или домашняя обстановка. Он не мог прийти ни к какому выводу. Его поразила эта невиданная противоположность в одном человеке: «Такое лицо, такие дела»...

Много раз он перечитывал приговор, пытался составить текст препроводительной бумажки на

имя главнокомандующего—и не мог. Перо не подчинялось требованию закона. Еще через полмесяца — амнистия...

Перед тем как отправиться в Метех и объявить Камо свои соображения, прокурор долго расхаживал по кабинету, много курил, вынимал приговор, для чего-то перечитывал его и снова аккуратно возвращал в портфель.

Так и произошло: согласно амнистии 1913 года смертный приговор Тер-Петросяну был заменен двадцатью годами каторжных работ. Его перевели в каторжную тюрьму.

Впоследствии было учинено расследование по делу об отсрочке приведения в исполнение приговора. Расследование установило, что прокурор сознательно отступил от закона.

За это он снова был низведен в товарищи прокурора.

Так было закончено сложное и почти невероятное дело об уроженце города Гори, Тифлисской губернии, Семене Аршаковиче Тер-Петросяне.

В

11

прочем, закончилось только «делом», хранившееся многие годы в негоряемом шкафу тифлисского жандармского управления. Человек же, которому посвящено оно, остался

жив. Он был только устранен из обстановки, позволившей ему продолжать путь.

Харьковская каторжная тюрьма, куда перевели Камо, оказалась надежнее Метехского замка. Быть может, он пробыл бы в ней до конца весь установленный срок заключения. Но серым мартовским утром 1917 года революция сорвала тяжелые замки с железных дверей каторжных камер. Камо вышел на свободу...

Волны революции, катившиеся по России в 1918 году, несли на своих гребнях и Камо. Из Боржома он мчался в Петроград. Потом его видели в Тифлисе, Баку. Время от времени он появлялся в Москве, и снова, минуя фронты, пробирался на юг, в Тифлис, опять в Баку, и обратно — в Москву.

В 1919 году он предложил Центральному Комитету партии проект организации в тылу белых целого ряда революционных актов, направленных к подрыву мощи противника. Там фигурировали взрывы арсеналов и заводов, вырабатывающих военные материалы, порча железнодорожных путей и мостов, поджоги интендантских складов, крушения воинских поездов.

В центре медлили с рассмотрением проекта Камо.

И только когда армия Деникина заняла Орел, Камо дано было разрешение осуществить проект.

В памяти его еще сохранился эпизод на Код-

жорском шоссе. Тогда экспроприация потерпела крушение только потому, что действия участников не были согласованы, роли недостаточно распределены.

Но где найти людей, которые могли бы не дрогнуть в самую грозную минуту?

Несколько десятков завербованных комсомольцев казались ему недостаточно стойкими людьми. Он пытался их экзаменовать, проверял их стойкость всеми способами и все-таки сомневался.

— Ну, предположим, вас накроют, начнут вам резать пальцы... нос... выпытывать сообщников,— устоите ли вы, чтобы не назвать имена товарищей?

— Этого не будет, товарищ Камо, пусть режут... В таком случае мы постараемся покончить самоубийством...

Иногда ему казалось, что эта молодежь действительно устоит и в ответственный момент с честью вынесет тяжкое испытание пыток.

Он отобрал сотню наиболее проверенных людей и отправился с ними на юг.

Они остановились в одном из штабов Красной Армии. После раздумывая ни одной минуты, Камо отобрал из сотни своих комсомольцев одиннадцать человек, назначил руководителя, дал инструкции, планы и отправил их по назначенному маршруту.

Путь комсомольцев лежал через лес, за которым был расположен фронт белых. В лесу они сделали привал.

Где-то в отдалении лопались выстрелы и глухо ковали воздух пушки.

Руководитель группы вынул кiset и закурил. Через три часа наступят сумерки, и они двинутся дальше.

И в тот момент, когда руководитель группы прятал в карман свой кiset, совсем близко захрустели ветви. Тишину разорвала свирепая ругань и лошадиное сопение. Все вздрогнули, повскакивали со своих мест. Кто-то крикнул:

— К оружию!

Но было поздно.

Всадники направили на комсомольцев винтовки. Семь человек подняли руки. Только четверо еще продолжали копаться в карманах, пытаясь высвободить револьверы. Одной комсомолке удалось поднять револьвер. Она выстрелила. Пуля не задела никого.

Всадник двинул на нее лошадь и сильным ударом приклада выбил из руки револьвер.

— Руки вверх, подлюга. Шпиёны.. И баба — тоже шпиёнка... У-у, гадюка!

Всадников было человек двадцать. На них блестяли погоны. Они быстро обезоружили комсомольцев.

И тогда начался суд.

— Расстрелять их, робя, и все! Гадюк таких в штаб вести не надо.

Руководитель группы побледнел. У него затряслась нижняя губа, и вдруг он повалился на колени.—Да за что же хотите нас расстреливать? Что мы вам сделали? А? Товарищи... Господа...— Он не выдержал и заплакал.

В это время подъехал офицер.

— Что? Красные? А-а-а, — протянул он торжествующе, — попались, голубчики...

И заорал:

— Переходить фронт?! Шпионить?! Всех — на дерево... Всех до одного! Никому пощады! Слышите! Никому!

Он слез с лошади, передал поводья одному из всадников. Его глаза, сверкавшие на красном лице, не предвещали ничего хорошего.

— К допросу! — скомандовал он. — Ты вот, — указал он на руководителя. — Ты зачем пробирался через фронт? — отвечай... — Федорченко, — приказал офицер одному из своих всадников, — приготовь вон там виселицы... Веревки есть? Ну, вот и хорошо... Одиннадцать штук, всех на деревья, и крышка... Пусть знают другие, что значит шпионство... Так вот, — продолжал он снова, обращаясь к руководителю группы, — я, пожалуй, подумаю и пощажу тебя... так и быть — вешать не буду, если только ты расскажешь мне все *чистосердечно*... Понял?

— А что вам надо знать? — упавшим голосом спросил руководитель группы.

— Ответь мне чистосердечно вот на какие вопросы: откуда, куда и зачем вы шли? Сколько вас перебралось и еще переберется к белым и как фамилии твоих товарищей? Ну!

Руководитель стоял бледный, с опущенными глазами. Его губы дрожали. Иногда он поднимал глаза и взгляд его долго не мог оторваться от того места, где «Федорченко» мастерил петли.

— Ваше благородие, пощадите... мы не хотели.

— Молчать! Говори по существу. Как фамилии всех твоих товарищей?.. Ну, как, Федорченко, готово?

— Скоро будет готово, господин ротмистр, — глухо ответил «Федорченко».

— Ну-с, — обратился офицер к руководителю, — ты еще упорствуешь?

И, не вытерпев больше допроса, руководитель начал говорить. Он рассказал все, что знал. Офицеру были переданы все сведения, все инструкции, которыми снабдил их Камо. И лишь четверо, и среди них — одна девушка, наотрез отказались разговаривать с офицером.

— Вы будете повешены, — раздельно и свирепо произнес офицер.

— Ну и вешай, палач... Всех не перевешаешь, — крикнула девушка, вырываясь из рук солдат.

— Федорченко,— сказал офицер,— вот этих четырех ты можешь повесить в первую очередь... а тех отпусти.

— Слушаю-с,— взял под козырек толстомордый солдат и ухмыляясь посмотрел на осужденных.

Белогвардейцы весьма пристально наблюдали за поведением осужденных.

— Ну что ж, не передумали?— обратился к ним офицер.— Отказываетесь разговаривать?

Он похлопал плеткой по своему сапогу.

— Даю вам еще одну минуту на размышление. Сколько войск расположено в этом районе? Как называются части? Скажете — помилую.

Но эти четверо оставались непоколебимыми.

Сколько ни допрашивал офицер, он не мог добиться от них ни единого слова. И вдруг произошло то, чего никто не ожидал: офицер громко расхохотался. Он не мог владеть собой—смех душил его так, что весь он корчился. Смеялся офицер, хохотали солдаты. «Федорченко» полез на дерево и принялся снимать петли. Комсомольцы смотрели на все это и тупо озирались — они не могли понять, что же произошло.

— Дурни,— буркнул «Федорченко», выходя на середину,— дураки, а еще туда же, комсомольцы... Не через фронт переходить вам, а под материнской юбкой сидеть... Э-эх, вы, кутя-я-я-та!

Он сплюнул и отошел прочь.

Офицер встал. Он перестал смеяться.

— Нет, вот эти четверо — молодцы,— сказал он, указывая на тех, что отказались с ним разговаривать.— А эти семеро — навоз...

И тут же он принялся сдирать с себя нос, парик, погоны... Это был Камо.

Долго мучившие его сомнения относительно стойкости комсомольцев сегодня разрешились. Теперь он безошибочно может сделать выбор. Теперь он знает, с кем можно отправляться к белым. Вот эти четверо стоят тысячи таких, как те семь, что сдрейфили перед «петлями»...

Он собирался отправляться к белым через неделю после эпизода в лесу. Проект был близок к осуществлению. Но в это самое время белые армии покатались от Орла на юг. Надобности в осуществлении проекта миновала.

Теперь надо было думать уже совсем о другом.

Тифлис... Он такой же, каким помнит его Камо: всегда солнечный и зеленый.

Вот наконец и она — мирная, спокойная жизнь, во имя которой отдал он все, что только мог отдать. Покой... Неужели Камо принадлежит теперь самому себе?

Кабинет, телефоны... «подчиненные»... секретарь, акты, протоколы... Да, он — начальник учреждения... Странно... Никогда он не думал об

этом... Ему мучительно трудно сидеть на этом кресле, в которое посадила его партия, слушать доклады, делать то, что делают в своих учреждениях тысячи партийцев... Что ж, надо... Это — будни революции... С каким наслаждением он бросился бы сейчас в прежнюю тревожную, столь родную и понятную ему обстановку, оставшуюся там, далеко в прошлом!

— Ничего, ничего, брат... привыкнешь... надо привыкать изучать экономику, надо научиться быть искусным руководителем советского учреждения,— говорил ему Котэ.— Хватит, боевая работа кончилась. Теперь наступила очередь управлять громадной машиной. Это — сложнее и труднее, чем экспроприировать денежные транспорты и симулировать четыре года сумасшествия... Да, брат. Знаю, ты не умеешь быть чиновником... Вон, ты со служащими держишься так, будто ты у всех у них детей крестил.

Так говорил Котэ, изредка навещая старого своего друга. Они подолгу засиживались, много говорили о революции, вспоминали прошлое. Как-то раз Котэ остановил свой взгляд на волосах Камо. Он как будто заметил их в первый раз:

— Э-э... да ты совсем старик!.. Не ожидал. Седин-то сколько!

Камо улыбнулся и согласился:

— Старик.

— А ведь как будто вчера был тот день, ко-

гда ты пришел к нам впервые. Щупленький, чер-
ный, с глазами, как у мыши. Ты угрюмо, испод-
лобья смотрел на нас, и я тогда усомнился, что
из тебя выйдет хороший революционер... По-
мнишь, как ты взял какое-то поручение и спро-
сил: «Камо отнести это?» Ты тогда плохо владел
русским языком. Даже слово «кому» ты не мог
произнести правильно... «Эх, ты, Камо, Камо»,—
помнишь, как окрестил тебя с тех пор Тоба?

— Воды утекло много,— улыбнулся Камо.

Однажды Котэ зашел к Камо и удивился: тот сидел, заваленный книгами.

Котэ тихо подошел к нему и взглянул через плечо. Перед Камо лежала тетрадь с чертежами.

— Что, начинаем учиться? — улыбнулся Котэ,— одолеваем географию?

— Учусь, брат, учусь,— буркнул Камо.— Задал мне вчера учитель теорему о равнобедренных треугольниках, объяснял, но я ничего не понял, а спросить стыдно. Может быть, ты знаешь доказательство? Покажи.

— Постой, постой,— все больше удивляясь, проговорил Котэ,— откуда все это? Почему?

— Что «почему»?

— Да вся твоя геометрия, книги... Куда ты готовишься?

— Ого, ты не знаешь ничего. Вот смотри.

Он подал ему мелко исписанный лист бумаги. Котэ прочел: «...и еще: товарищ Ленин просит

передать тебе, чтобы ты без промедления принялся готовиться в Академию Генерального Штаба. Он знает, что тебе несвойственна обстановка «учреждений». Ты не в состоянии дышать таким воздухом. Это вполне понятно. Словом, Ильич метит тебя в красные генералы. Жму руку будущему «вашему превосходительству»...

— Понимаешь,— сказал Камо,— я не предполагал, что Ленин знает меня так хорошо. Оказывается, я не знаю себя так. Я никогда не думал об Академии и только после получения вот этого письма из Москвы осознал: Академия и есть именно то, что больше всего мне подходит. И как это я сам до этого не додумался?..

— Ну, ну, ни пера тебе ни пуху...— сказал Котэ,— учишь, учишь, а доказательства равенства равнобедренных треугольников не знаю... Геометрию никогда не учил.

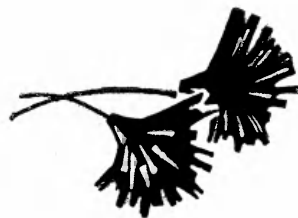
Поздним июльским вечером 1922 года по Верийскому спуску, ведущему к Куры, двигался на велосипеде некий человек. Было душно и темно. Впереди, внизу, замирая от горячего воздуха, медленно ползла черная, пересыпанная огнями моста, река. Позади велосипеда, громыхая и качаясь, катился грузовой автомобиль. На середине спуска машина ускорила ход: шоферу показалось, что дорога свободна.

Он дал скорость, всматриваясь в дрожащую и прыгающую в снопе света дорогу, и вдруг заметил, как в этом снопе, близко от машины появился силуэт велосипедиста. Шофер инстинктивно повернул руль, но было поздно: что-то внезапно толкнуло машину и подбросило ее вверх. Шофер мгновенно остановил машину и вгляделся во мрак. Стояла тишина. Только издали, откуда-то с другого берега Куры, доносился шум трамвая.

Шофер хотел уже трогать, как вдруг услышал слабый стон. Тогда он сошел с машины и увидел, что у дороги валяется велосипед, а недалеко от него лежит человек, уткнувшийся лицом в пыльную дорогу.

Через десять минут велосипедист был доставлен в ближайшую больницу, а еще через два часа врач, оказавший первую помощь пострадавшему, доложил члену Совнаркома, спешно прибывшему с какого-то заседания, что положение раздавленного безнадежно, пульс прекращается и что человек, которого записали в книге больницы под фамилией Камо, умирает...

1929—30 гг.



ГЕОРГИЙ ШИЛИН

Камо

П о в е с т ь

Редактор Л. ХОХЛОВА
Худ. ред. Н. ПАНАСЮК
Техн. ред. Т. СТЕБЛЯНКО
Корректор
Н. ПАРАЩЕНКО

Сдано в набор 9. IV-66 г.
Подписано к печати 8. IX-66 г.
Уч.-изд. л. 3.5. Печ. л. 3.15.
Бумага 60x84^{1/32} Картографическая. Сорт 1. Заказ
№1176. Тираж 200.000 экз.
Цена 16 коп.

Ставропольское книжное
издательство, 1966

Краевая типография
г. Ставрополь,
ул. Артема, 18.

16 коп.

КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СТАВРОПОЛЬ - 1966

БѢЖАЛЪ ВАЖНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКІЙ АРѢСТАНТЪ
ТЧК ВОЗРАСТЪ 22 ГОДА ТЧК УРОЖЕНЪЦ ГОРИ ТЧК
СѢМѢНЪ ТѢРЬ-ПѢТРОСЯНЦЪ КЛИЧКА КАМЪ
ГЛАВА КАРИѢ КОРѢНАСТЫЙ ЧЕРНЫѢ
КОМЪДЛѢННО АРѢСТОВАТЬ
БАТУМСКУЮ ТЮРЬМУ ТЧК

КАМЪ

ЭТА
КНИГА
О
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ
РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ
СЕМЕНЕ
ТЕР-ПЕТРОСЯНЕ



Вы прочитали эту книгу.
Каково ваше мнение о
содержании, художест-
венном оформлении и
полиграфическом ис-
полнении?

Пишите нам по адресу:
город Ставрополь, ули-
ца Артема, 18, книж-
ное издательство.

Цена 16 коп.